

О тараканах. Максим Горький gorkiymaxim.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

О тараканах. Максим Горький

На песчаном холме, на фоне темносинего неба – мохнатая сосна, вся в звездах; под сосною рыжеватый, ржавый валун; сосна как-будто растет из камня – цветок его. За холмом – озеро; в гладко отшлифованной воде шевелятся золотыми тараканами отражения утонувших звезд. Вдали, в плотной тьме воды и воздуха, – зубчатые, желтые трещины, – огни невидимого города. У камня, на небольшой кучке золотых углей, качаются оранжевые огоньки, освещая ноги в сапогах из листового железа, ноги бородатого человека в шапке с наушниками, в тяжелом овчинном тулупе; из бороды торчит трубка, на коленях человека – сухие ветки; он, потрескивая, мелко ломает их и скупо кормит ими огонь маленького костра; едва ли этот костер способен согреть его огромные, железные ноги. Другой человек лежит, вытянувшись на песке, он прижался к рыжему боку валуна, лицо его прикрыто измятой шляпой, из-под шляпы высунулся костяной, голый подбородок, вокруг головы венцом лежат на песке синеватые волосы. Почему-то ясно, что этот человек – мертв. – Кто это? – А не видишь? – Что с ним? – Известно что – помер. – Отчего? – На ходу. – Убит? – Его спроси. – А кто таков? – Нездешний. Человек с трубкой в зубах отвечает невнятно, неохотно и, как-будто, даже враждебно; трубка его погасла, не дымит, волосатое лицо стерто дрожащим отблеском костра. Пойду дальше, по дороге, измятой копытами терпеливых лошадей. Ночь – суха, свежа; есть в ней что-то металлически холодное; от холода земля, вода и воздух твердеют, сжимаясь в единую массу; с неба и озера она пронизана, прошита медной проволокой звездных лучей. Очень тихо и кажется, что тишина тоже все густеет. В такую ночь легко итти капризной тропой дум в бесконечную даль воспоминаний. "Нездешний" человек, который помер "на ходу", больше никуда не пойдет и никогда не почувствует усталости. Странно, что у меня не явилось желания приподнять шляпу с его лица, взглянуть каков он. Впрочем – мертвые однообразны: юморист Марк Твэн принял в гробу сходство с трагиком Фридрихом Нитче, а умерший Нитче напомнил мне Черногорова, скромного машиниста водокачки на станции Кривая Музга.

Звезды в небе, отражения звезд в озере и земные огни вдали воспринимаются как дерзкие просветы сквозь тьму осенней ночи в область какого-то вечного и, должно быть, очень холодного огня. "Вселенная суть горение, так же, как человеческая жизнь", – утверждает Шкалик, учитель физики, человек трезвого ума. Химия учит, что гниение суть тоже горение. Интересно: каким огнем сгорел "нездешний" человек, умерший "на ходу"? Песок скрипит под ногами. Шильонский узник протоптал в камне пола тюрьмы своей глубокую тропу. От воспоминания об этом узнике фантазия всегда переносится к человечеству, которое тоже неумоимо и непрерывно протаптывает тропы сквозь тьму неведомого к познанию силы своего духа; "дух, возникнув из хаоса, стремится к совершенной гармонии". Не помню, кому принадлежит эта высокая мысль. Анатоль Франс склонен думать, что "высокие мысли" так же наивны, как "низкие истины". "Высокие мысли" не удаются мне, "низкие истины" – не нравятся. У меня трудная позиция человека, который, квартируя между небом и землею, оглушен ревом, воплем земли, ничего не понимает в астрономии, и которому в тихие ночи кажется, что созвездия иронически посвистывают. Некто, помнится – Декарт, находил, что мыслить, это значит: стремиться к обособленной связи истинных суждений. Другие утверждают, что кроме дьявола, именуемого отцом лжи, никто не знает, что такое суть истинное суждение. Мне кажется: эта бестия, дьявол, искренно убежден, что хорошая ложь полезнее плохой правды. И, несомненно, что это дьявол нашептал одному из поэтов слова, смутившие многих: "Мысль изреченная есть ложь". Декарт, выделив душу из тела, как пламя из тьмы, сделал тьму – гуще, а пламя холодным и должно быть поэтому "истинные суждения" не греют меня. Впрочем, я знаю только одно истинное суждение: ничто в мире не заслуживает большего внимания, чем друг и недруг мой, человек. Я знаю также, что, по оценке философа, это суждение стоит дешево. Но еще дешевле и смешнее оно с какой-то другой, не высказанной с достаточной ясностью, но общепринятой точки зрения. В одном известном мне случае, некто наивный с великой тоскою спросил ближних: – Понимаете ли вы, что такое человек? В ответ ему все люди насмешливо улыбнулись, хотя не все они были идиотами. Вот, человек умерший "на ходу" лежит там, сзади меня, под охраной угрюмого ближнего с погасшей трубкой в зубах, около маленького костра, огонь которого не греет. Мне ничего не известно об этом человеке, я знаю только одно: уж если он жил, – он человек истории. Совершенно недопустимо существование какого-то человека, который не имел бы своей истории. Вероятно и это – одно из бесчисленных моих заблуждений, но когда я думаю о храме, где обитают разнообразнейшие истины, грубая фантазия моя уподобляет сей

О тараканах. Максим Горький gorkiymaxim.ru

храм одному из тех, впрочем необходимых, домов, куда мужчины разных возрастов ходят тратить избыток или восполнять недостаток своей любви к женщине. Но, разумеется, я понимаю мудрость учителя Шкалика, который говорил гимназистам:

- "Истина необходима человеку так же, как слепому трезвый поводырь". Он писал книгу "Пифагор и логика числа", но, к сожалению, не успел окончить ее, заболел прогрессивным параличом. Где-то налево, за рощей унылой ольхи, лает собака, лает тревожно, истерически захлебываясь желанием предупредить спящих людей о какой-то опасности. Собаку заслуженно именуют наиболее честным другом человека. Между собакой и пророком есть странное сходство, - это сказано не по недостатку уважения к пророкам, но только из любви к животному, которое ближе всех других подошло к человеку и, кажется, тоже обладает способностью предвидеть будущее. Собакам знакомы сновидения, - это уже много. У меня был фокс-терьер Тони; когда сновидения будили его, он, прибежав ко мне, тихонько выл и лаял; я уверен, что это он пытался рассказать мне свое сновидение. Я знал также шотландскую лайку Дети; когда ее хозяйка, Престония Мэн Мартин, играла на рояле, Дети ложилась под рояль и слушала великих музыкантов, странно, как бы изумленно открыв свои прекрасные глаза. Но лишь только Престония Мэн начинала барабанить один из бесчисленных маршей Суза, Дети уходила из гостиной, должно быть оскорбленная громкой профанацией величайшего искусства. Она была храброй собакой, яростно и ловко сражалась с барсуками, но панически боялась мышей. Я знал также осла, влюбленного в лошадь; право же, я не скрываю здесь аллегии, обидной для кого-нибудь. Действительно, был такой осел и, когда его возлюбленную лошадь продали, он перестал есть, явно пытаясь убить себя голодом. Известен рассказ об осле, который после смерти хозяина своего утопился в Луаре. Лошади - плачут; мучительно видеть, как из кротких и красивых глаз выкатываются немые слезы, и как по-детски обиженно дрожат их мягкие нижние губы. Много интересного и таинственного можно рассказать об уме птиц и мышей. Интересно: была ли какая-нибудь собака, предчувствуя смерть "нездешнего" человека, который умер "на ходу"? Отчаянно много знаю я анекдотов. Я оброс ими, точно киль корабля моллюсками и это мешает мне плыть к совершенной истине так быстро, как я хотел бы. Истина же необходима мне: как всякий, уважающий себя человек, я хочу быть похороненным в приличном гробе. Весьма возможно, что человек, который лежит там, под сосной - сын швейцара дворянского собрания Василия Еремина, жандармского вахмистра; Еремин оказался неспособным к трудному делу политического розыска, потому что воспитание птиц увлекало его более сильно, чем ловля человек. И вот он переселился из казармы жандармского управления под каменную лестницу желтого с колоннами дворянского дома; там, в полутемной комнате с одним окном и важной, пузатой печью, он прожил семь лет, искусно и терпеливо обучая толстых, красногрудых снегирей насвистывать "Коль славен наш господь в Сионе", "Боже царя храни" и "Господи, воззвах тебе" на шестой глас. Воспитав птицу прославлять бога и царя, вахмистр продавал ее кому-нибудь из любителей оригинального или почтительно дарил преосвященному владыке Гурию, тюремному инспектору Топоркову и другим крупнейшим и наиболее благочестивым лицам Воргорода; своим искусством и мудрой щедростью своей вахмистр Еремин приобрел вполне заслуженную известность, а также скопил семьсот рублей. Между любимым делом он, для порядка, женился на девушке-сироте; через год она родила ему сына, нареченного, в честь жандармского генерала Платонова, Платоном; а через пять лет жена скончалась, упав с крыши, куда залезла в припадке лунатизма. Вахмистра Еремина не очень огорчила смерть жены: она была женщиной рассеянного ума, за птицами ухаживала небрежно, клетки чистила плохо и, по доброте сердца, кормила снегирей как раз тогда, когда они должны были голодать. Ибо птицы прославляют богов земли и неба только с голода, свои же свободные песни поют ради любви, так же как и другие честные художники. После смерти жены вахмистр быстро убедился, что пятилетний сын мешает ему жить: он открывал дверцы и ломал прутья клеток, выпуская птиц, затем, безуспешно стараясь поймать их, бил посуду, падал, разбивая себе лицо, обворовывал отца и снегирей, пожирая конопляное семя. Его нужно было часто бить, но он был толстенький, пухлый и какой-то жидкотелый: побои не действовали на него. Кроме птиц, в каменной пещере под лестницей жили черные и рыжие пруссаки-тараканы, а также мыши; мыши, тихо питаясь семенем, просыпанным птицами на пол, никому не мешали, пруссаки тоже вели себя смиренно, а черные, заползая в клетки снегирей, будили их и почти каждый вечер испуганные птицы неистово билась, передавая страх свой из клетки в клетку. - Бей тараканов! - приказал отец, вооружив сына подошвой резиновой галоши Платон охотно стал прилепывать усатых сожителей к штукатурке стен, но это недолго забавляло его, он скоро понял, что источником неудобств и обид его жизни являются насекомые, птицы и отец. Когда он досрочно школьного возраста, он стал еще более раздражать отца, обнаруживая в шалостях молчаливое упрямство, оно принимало в глазах вахмистра не только характер

О тараканах. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

преступления против власти, но угрожало убить его репутацию искуснейшего воспитателя птиц. Ибо вахмистр с великим изумлением заметил, что некоторые из снегирей, уже обученные славословиям, вдруг онемели, нахохлились более мрачно, чем это вообще свойственно им, а потом они стали несвоевременно умирать. Догадываясь о причине этих печальных явлений, вахмистр начал следить за сыном и скоро поймал его как раз в ту минуту, когда Платон, накалив шпильку на огне лампы, прижигал ею толстый черный язык одного из лучших певцов. Схватив сына за волосы, тыкая лицом его в доску стола, солдат огорченно закричал: – Чорт дурацкий, зачем ты делаешь это? Ведь птице-то больно? Больно, а? Говори, кривоногий дьяволенок! – Не больно, – ответил сын, шмыгая носом, из которого брызгала кровь. – Врешь, – как не больно? – Они – рады. Нужно было очень долго и разнообразно бить Платона, прежде чем он сказал, что ему надоел птичий свист, война с тараканами, что уход за снегирями и все вообще мешает ему учить уроки, и что он хочет утопиться в омуте, за мельницей. – Попробуй, стервец! Я те утоплюсь, – пригрозил вахмистр, швырнув сына в угол, за печку, где жили тараканы и где, на жесткой кошке, спал Платон. Вахмистр Еремин долго следил, чтобы сын не бегал зря по улицам, отпускал его только в церковь ко всенощной и обедне, заставлял помогать себе чистить лестницу, выбивать пыль из ковров и вообще всячески старался заполнить свободное время сына полезным трудом. Но все-таки Платон знал и радости, без которых совершенно невозможна жизнь больших и маленьких человечков. Осенью и зимою желтый дом дворянства сказочно оживлялся, по лестнице, парадно украшенной цветами, покрытой красным ковром, всходили, точно ангелы во сне Иакова, удивительно красивые женщины, их манил яркий свет наверху, и ласковая музыка изливалась навстречу им мягким потоком необыкновенной звучности. Платон, прикрываясь кадкой, в которой росло большое дерево, очарованно смотрел на женщин, слушал музыку, но отец, заметив его, подходил и подзатыльниками загонял под лестницу к снегирям и тараканам. – А кто учиться будет, дурак? – грозно спрашивал он и уходил, плотно прикрыв дверь. Платон садился учить уроки, но музыка, отрывая его от стола, поднимала на ноги; осторожно, бесшумно, точно кот за мышами, он шел темным, путаным коридором к задней лестнице на хоры и там, примостясь около музыкантов, оглушаемый визгом скрипок, ревом меди, смотрел вниз, на дно большой, ослепительно светлой комнаты. По блестящему полу, между колонн, похожих на деревья с золотыми ветвями, скользили и бегали ловкие военные, штатские; крепко обняв женщин, они кружились как заводные игрушки из раскрашенной жести, игрушки, которые свободно двигаются сами, если их завести маленьким ключиком. Вблизи музыка была не так приятна, как издали, но все же Платон чувствовал, что она наполняет его необыкновенной, до слез сладкой скукой, заставляя забывать снегирей, тараканов, отца, учителя, мальчишек школы, не любивших его за трусость и угрюмость, филистимлян, апостолов и все остальное. Музыка уносила за пределы всего, что знакомо и обижает, что непонятно и тревожит. Иногда казалось, что музыка способна навсегда смыть неприятное и ненужное. Отец находил его в состоянии полузабвения, отгибал железными пальцами ухо сына и, ущемив ухо, вел Платона вниз, шептывая: – А кто учиться будет, а кто будет дрыхнуть? Платон снова садился к столу пред маленькой лампой голубого стекла и, преодолевая томление сладкой скуки, желание спать, пытался думать о купце, который продал двадцать два аршина сукна, об Исаве, который тоже что-то продал Иакову за похлебку, о деепричастии и сути. Пред ним устрашающе вставал кривоzubый учитель; непрерывно сморкаясь, он, квакающим голосом, говорил: – Имена существительные, суть... Повтори, Еремин! Имена существительные не интересовали Платона, а учитель носил необыкновенную фамилию – Буздыган и, глядя на его длинное тело с головой, похожей на яйцо, на его мокрый, красный нос и слезоточивые глаза, Платон всегда с унынием думал: неужели есть такой край, где живут непохожие на людей длинные буздыгане и квакают: – Квак? Квак? Кроме того, Платон иногда находил, что шестью девять "суть" шестьдесят девять, а иногда ему казалось, что это – девяносто шесть, – обе цифры, похожие на мышей, были неустойчивы, капризно кувыркались, взмахивая хвостиками вверх они давали 66, а опустив хвостики вниз обращались в 99 и совершенно нельзя было понять, когда они именно показывают настоящую "суть". Буздыган же упрямо доказывал, что шестью девять 54, заставляя Платона думать: как это две большие цифры, помноженные одна на другую, дают две цифры меньше их. Учитель, никогда не соглашаясь с Платоном, часто оставлял его без обеда; это вызывало побои отца и, наконец, внушило Платону упрямую мысль: все, что он обязан понять, нарочито спутано окаяннм словечком учителя – "суть", оно же сбивает с толка и самого Буздыгана, который, сердясь, сморкался и квакал все более часто, более грозно. Из всего, чему учили в школе, только сказочные уроки веселого красавца попа Александра Фиалковского возбуждали внимание Платона, отводя его далеко в сторону от птиц, тараканов, всевозможных обид и жестких корок школьной науки. Поп рассказывал свои чудеснейшие истории так же интересно,

О тараканах. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

как слепой нищий Мартын пел стихи, сидя в базарные дни на паперти церкви Трех Святителей; в эти дни Платон всегда опаздывал в школу и оставался "без обеда". Музыка, вливаясь в каменную пещеру под лестницу сквозь дверь, через трубу печи, вздыхала, гудела, манила, ласковый шопот ее вторгался в голову и вытеснял оттуда все, что необходимо знать о воде, которая одновременно втекала в бассейн и вытекала из него, о признаках, которые отличают существительное от прилагательного. Музыка будила снегирей; чуть видные в сумраке, точно полупогасшие угли, уже подернутые пеплом, они начинали прыгать по жердочкам клеток, выскрипывая, высвистывая хвалу богу и царю, напоминая грешников с картинки, изображающей адовы муки. Музыка оживляла даже посудный шкаф, самую приятную вещь в полутемной пещере отца; на синих дверцах шкафа хорошей, золотистой краской было изображено широколицее, доброе солнце в красных иглах лучей; оно было несколько похоже на ежа, в подбородок ему ввернуто медное кольцо; если, повернув кольцо налево, осторожно тянуть его к себе, дверцы шкафа, взвизгнув, точно девчонка, когда ее внезапно ущипнешь, открывались. Солнце разрезала темная полоска: сначала узенькая, она, расширяясь, смешно раздвигала милую рожицу солнца; круглые, усатые глаза его, улыбаясь, расплывались, исчезали, а на внутренней стороне дверей шкафа цвели синие и красные цветы, наполняя комнату запахом различных кушаний, которые ежедневно дарил отцу кум его, повар, крестный отец Платона. По красивым полкам шкафа разбегались тараканы, на верхней блестела чайная посуда и среди нее особенно соблазнительна была зеркального стекла ваза, почти всегда полная вареньем из кружовника, любимым лакомством вахмистра. Эта ваза формой своей напоминала Платону чашу, которую Христос видел в небесах Гефсиманского сада, и Платон был уверен, что если б тогда она была наполнена вареньем из кружовника, - Христос не сказал бы: "Господи, пронеси чашу сию мимо меня!". А на нижней полке шкафа стояла банка с патокой, ненавистная Платону; горько было смотреть на нее, ибо однажды, когда ему надоело избивать черных тараканов подошвой галоши, он придумал способ менее хлопотливого истребления насекомых: зачерпнув ложку клейкой сладости, он намазал ею портреты двух царей, одного - с бритым подбородком и баками и другого - широколицего с большою бородой. Портреты висели около печи, над постелью отца, и Платон правильно рассчитал: в первую же ночь множество прусаков и черных прилипло к портретам и особенно густо приклеились они к лицу бородатого царя. Утром, проснувшись, сердито мигая, отец удивился: - Что за дьявол? Вот видишь, лентяй, сколько их развелось, - сказал он сыну и хотел смахнуть тараканов ладонью, но ладонь, приклеившись, сорвала портрет со стены. В этот день Платон не мог идти в школу, потому что отец лишил его возможности сидеть. Учился он дома, лежа на полу вверх спиною, не пошел он и на другой день, убежав на реку топиться. И с этого дня он возненавидел и царей вместе с тараканами, снегириями каменной ненавистью, а вахмистру Еремину стало ясно, что нельзя жить под одним потолком с этим молчаливым, белобрысым, упрямым зверенышем. Уши у него были неудобные, они так плотно прилегли к черепу, что прежде чем схватить за ухо, нужно было отогнуть его пальцем. В сумраке комнаты казалось даже, что у Платона совсем нет ушей, а слушает он круглыми глазами совенка, которые, никогда не мигая, следят за отцом, как за черным тараканом. Вообще этот человек был непонятен отцу, ненужен ему и внушал какие-то тревожные чувства. Вахмистр лучше понимал снегирей, больше привык к ним, возможно, что он истратил на птиц весь запас чувства любви, которым обладал, да ведь и всех нас природа оделяет этим чувством в ничтожной дозе, лишь очень редко людей мучает избыток его. Подождав, когда сын кончил второй класс школы, вахмистр отдал его в ученики "часовых дел мастеру" Ананию Тумпакову, толстому человеку с темными, жидкими глазами, которые переливались через стекла очков. Прищурив один глаз, схватив себя рукою за подбородок, Ананий сказал негромко, как человек, сильно уставший: - Часовое ремесло мелкое и тонкое, прежде всего будь осторожен, мальчик. Вот пяточок, иди к парикмахеру Гильому, - третий дом направо - остриги себе волосы. В тот же вечер он показал Платону как нужно закрывать окно и дверь магазина ставнями, потом, сидя в кресле с отломившейся ручкой у стола, заваленного колесиками, коробочками, в которых было много часовых стекол и очень забавных кусочков меди, он долго говорил снова о том, что часовое ремесло требует внимания и ловкости. Взяв щипчиками тоненькую, свернувшуюся змеей пружинку карманных часов, он сказал: - Вот, видишь, какая ничтожная, а в ней вся суть. Невероятно глядя в жидкие, темные глаза, Платон спросил: - Вы, что ли, добрый? - Да, я незлой, - ответил хозяин. Подумав, Платон спросил еще: - А, может, вы - пьяный? Ананий, смигнув из глаза на ладонь лупу, облизал рыжим языком седенькие усишки и осведомился: - Почему же пьяный? Платон объяснил: - Добрые, это - пьяные, когда они не скандалят. - Так, - сказал Ананий Тумпаков, подумав, - так. Разве отец твой пьет? - Он и недобрый. - Ага. Понимаю. Он бил тебя? Платон промолчал, не зная, что выгоднее сказать: да или нет. Тогда Ананий, заткнув глаз лупой, сказал

О тараканах. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

очень тихо: – Иди спать, мальчик. Я не дерусь. Нужно было не очень много времени для того, чтоб Платон понял: его хозяин – один из тех людей, которых все остальные называют чудачками. Люди, приносившие в магазин большие часы, посмеивались над Ананием как над горбатым, говорили с ним точно с дурачком Игошей – Смерть в кармане. Он же, Ананий, говорил со всеми устало, тихо и неохотно. Его кожаное, бурое лицо, надутое как резиновый мяч, напоминало крышку суповой миски, шишечку крышки заменял нос; полному сходству с нею мешали только выкатившиеся глаза, они вздувались за стеклами очков темными пузырями и казалось, что только очки не позволяют им лопнуть. Подбородок и тугие щеки Анания посыпаны как-будто молотым перцем и маковым зерном, лысина делала его выпуклый лоб почти вдвое больше лица. Этот человек не рычал, не командовал, как отец, не учил скучно и строго, как школьный учитель. Он вообще был приятно непохож на всех людей, знакомых Платону, и мальчику хотелось видеть его красивым, как поп фиалковский. С утра до вечера Ананий, вставив лупу в глаз, сидел за столом против окна, щелкая чем-то, звякая, поскрипывая, подпиливая, рылся пухлыми пальцами в пыльном хаосе на столе и, вздыхая со свистом, бормотал прилипчивые, смолисто-темные слова: – Нет, Софрон, это ты в воздухе, ты, Софрон, на канате... Эти слова не заглушали разнозвучного, непрерывного чмокания и чваканья многочисленных маятников, скользивших по стенам маленького, сумрачного магазина, чавкая время. В словах хозяина было что-то навязчивое, и когда Платону становилось скучно чистить щеточкой различные колесики или чистить мелом медь гирь и цепей, он тихонько напевал: – На-ка-чвак, на-те-чмок, Соф-чок, рон-чок... Зимой злая лошадь предводителя дворянства Бобоева убила швейцара Еремина; Ананий, вместе с Платоном, проводил вахмистра в снежную и точно в железе вырубленную могилу; потом, закрыв магазин, несколько дней, с утра до вечера бегал по городу и, наконец, устало рассказал Платону, что повар, духовный отец его, обворовал вахмистра, но что есть Сиротский суд и дело еще можно поправить, а пока Платон имеет сто семьдесят три рубля. Ананий же назначен опекуном его. Он долго объяснял, что такое опекун, но Платон понял только одно: это не хлебопек. Думая о смерти отца, он очень пожалел, что ему не пришлось видеть, как лошадь убила вахмистра, такого силача. В ясные дни в окно магазина после двух часов проникало солнце, все часы на левой от окна стене встречали его блеском ширококоржих, усатых циферблатов, а маятники раскалялись и отсекали лучи солнца, не допуская их коснуться стены. Часто, почти каждый день, между четырьмя часами и шестью, дверь магазина с визгом и дребезгом отворялась и влезал, шумно отдуваясь, всегда полупьяный скотский доктор Веневоленский, парусиновый человек в кожаной фуражке, похожей на кастрюлю, с разноцветным, как мыльный пузырь, лицом. Он – тоже толстый и в его шерстяной, спутанной бороде торчало множество зубов какого-то фальшивого рта. Платону он казался двуротым: зубы у доктора прорезались не там, где у всех людей, а значительно ниже, настоящий же человеческий рот невидимо и крепко зашит волосами, поэтому доктор говорит глухо, как в бочку, и все, что он говорит неправда. Голосом часов, стоявших в углу, в гробоподобном ящике, Ананий приказывал: – Мальчик – чаю! Когда Платон приносил поднос с двумя стаканами крепкого чая, сухарями, лимоном и густой, настоенной на сливах водкой в граненом графине. Ананий, смигнув лупу, смотрел на сизый нос гостя выкатившимися глазами и уговаривал его: – Подожди, Софрон... А доктор кричал, притоптывая: – Где логика? Наклонясь друг к другу, почти соприкасаясь лбами, оба толстые, как снегири, они становились неразличимы, хотя один был волосат, а другой лысый. Доктор рычал и лаял, упираясь руками в свои колена, его красные глаза и желтые кости зубов сверкали так, что издали можно было подумать: Софрон говорит веселое, – но оба они говорили скучно и непонятно. Софрон часто и угрожающе кричал: – Логика! – Платону казалось, что это инструмент доктора, нечто похожее на ложку с длинным черенком, как та, которой отец разливал суп и щелкал Платона по лбу. Ананий Тумпаков миролюбиво умолял доктора: – Ты, Софрон, учился в семинарии, ты, вообще, ученый, я тебя люблю и уважаю, а верить – не могу... – Говори, употребляя логику! – Я – употребляю... – Ты – ущемлен! Чмокали, такали, чвакали маятники; по круглым рожицам часов незаметно передвигались черные усы стрелок; звенели и гудели боевые пружины; куковали две кукушки, разнозвучно отсчитывая семь, иногда восемь и даже девять ударов, а двое толстых все спорили, глотая водку, густую и желтую как патока, запивая ее крепким, горьким чаем. Всегда неожиданно, заставляя Платона вздрагивать, отворялась дверь магазина, отчаянно звенел колокольчик, с улицы входил человек и Ананий виновато пьяненьким голосом говорил ему: – Завтра, обязательно – завтра. Сквозь старые, мутноватые стекла окна и двери жизнь на улице казалась ненастоящей, фигуры людей теряли правильность форм, расплывались как тени, ползли точно облака, медноголовая команда пожарных почему-то свертывалась в огромные, быстрые комья, а лошади извозчиков, наоборот, вытягивались, становясь длиннее, чем они были. Когда же шли солдаты – как-будто двигалась гребенка

зубцами вверх и вычесывала из воздуха солнце, лучи его приставали к штыкам серебряными ключьями. Ежечасно в магазине раздавался гулкий бой часов, особенно длительный до первого часа после полудня; Платон скоро научился заводить часы так, что они били не все сразу, а спустя минуту одни после других – это напоминало музыку в доме дворянского собрания. Интересно было рассматривать механизмы часов, особенно карманных: там была черненькая пружинка, свернутая змеею, та, о которой Ананий сказал, что "в ней вся суть". Напоминая Платону пружины заводных игрушек, она также напоминала сказочные праздники в дворянском доме и урок закона божия, на котором поп Александр интересно рассказывал о рае и дьяволе под личиной змея. Имя дьявола Платон слышал часто, – доктор ругал "тихим дьяволом" Анания. Это было неверно: толстый часовщик похож на селянина, дьявол же совмещал в себе серую, с кровавыми глазами, лошадь Бобоедова и лицо его жены, длинное, костлявое с безгубым ртом. Платону было известно, что дьявол мог изменять свою личину как хотел, в настоящем же своем виде он был темно-дымчатой тучей с медными глазами без зрачков, как две лупы. Именно таким почувствовал его Платон, когда, претерпев жестокую порку в наказание за портреты царей, хотел утопиться; раньше, чем прыгнуть из кустов с обрыва в черный омут, Платон задумался о чем-то и уснул, а проснувшись, увидел, что дьявол смотрит на него из омута и с неба медными глазами, как две лупы; лицо у него огромное, больше всей земли и кривое; одна щека, синяя, значительно больше другой, черной. Ананий спорил с доктором почти четыре года, но из всех этих споров в памяти Платона остались только вот эти сердитые слова скотского доктора. – Пойми, дурак, бог, может-быть, из милости к тебе скрывает суть правды, так же, как ты не скажешь правду вот этому мальчишке с глупой рожей. Ведь, употребляя логику, не скажешь ты мальчишке то, что, например... Софрон договорил слова свои в ухо Анания, именно поэтому Платон вцепился в них и с той поры начал вслушиваться в бесконечный этот спор внимательнее, желая и надеясь узнать, что именно скрывают от него эти люди, какую "суть правды". Он даже начал думать, что хозяин и Софрон сделали что-то нехорошее, может-быть украли деньги и не могут разделить, а может-быть убили знакомого человека, и человек этот снится им. Хозяин особенно часто говорил слова таинственные: – А, вот, один англичанин выдумал штучку... А, вот, рассказывают, что немец в Гамбурге придумал машинку, – говорил он и спрашивал: – Это – как? – Баба! Суевер, – кричал на него Софрон. Но прежде, чем Платон успел понять что-нибудь – умер царь. Софрон принес его портрет в гробу, а хозяин, посмотрев на портрет, сказал тихо, как всегда: – На купеческого кучера похож. Говорили, он был глуп и пьяница. Доктор рассердился, закричал, швырнул портрет на пол и, ударив Анания кулаком по лысине, ушел, дико ругаясь, а хозяин, потирая лысину, сказал, печально вздохнув:

– Ведь, вот какой... неуютный. Платону стало жалко хозяина, хотя кротость Анания показалась ему смешной. Платон поднял с пола мрачный портрет и хотел изорвать его, но вспомнив, как сильно он потерпел из-за этого царя, решил отомстить ему и извлечь из куска бумаги некоторую пользу; он смазал портрет сиропом малинового варенья и положил в комнате за магазином на стол для истребления мух. – Это ты хорошо придумал и давно пора, – сказал Ананий, увидав гибельную для мух приманку. – Но, – продолжал он задумчиво разглядывая погибших и погибающих мух, – во-первых, для этого продается специальная бумага, а во-вторых – смазать надо было с изнанки, а не с лица. Подумав и будучи мало осведомленным в истории, он добавил: – И вообще – царей вареньем не мажут. – Я патоккой мазал тоже, – похвастался Платон. Тогда хозяин, переливая глаза через стекла очков стал расспрашивать ученика: когда и зачем он делал это. А выслушав рассказ Платона, сказал, крепко потирая наперченную, шершавую щеку: – Ты – мальчик с фантазией и этим надобно дорожить; может-быть ты выдумаешь какую-нибудь машину или другое, полезное. Но, видишь ли... И Ананий сказал Платону, что за непочтительное отношение к царям людей сажают в тюрьмы, ссылают в Сибирь, а некоторых даже вешают. Говорил он долго, скучно, и Платону казалось, что хозяин сам не верит тому, что говорит, а только хочет испугать. Отец умел говорить о царях устрашающим басом, но и его грозные речи после печального случая с патоккой не пугали Платона и не могли уже поколебать его неприязнь к царям, ненавистным ему, как "суть" и просняная каша, в которой всегда попадались какие-то каменные зерна, отвратительно скрипевшие на зубах. Через день, в свое обычное время, явился Софрон, как всегда – полупьяный и очень ласковый, он обнял Анания и, всхлипывая, как худой сапог в дождливую погоду, несколько раз поцеловал друга в лоб и лысину; но когда прошел в комнату и увидел на подоконнике царский портрет, обильно усеянный мертвыми мухами, – он снова рассердился, закричал: – Ананий, тихий чорт, это в насмешку надо мной, а? Но, ведь, это преступление! До чего ты дошел? До чего? А узнав, что это сделано Платоном, он схватил его потной, горячей рукою за челюсть и, встряхивая ее, орал: – Съесть заставлю, паршивец!

О тараканах. Максим Горький gor.ki.umaxim.ru

Потом, схватив бумагу, залепил ею лицо Платона. – Жри! Ананий отнял ученика, тщательно, мелко изорвал клейкую бумагу и, скатав ее шариком, бросил в помойное ведро. Затем друзья стали пить чай с настойкой на сливах, и скоро Софрон Беневоленский запел мрачно и плачевно, отрывисто произнося каждое слово:

– Не бил – барабан – перед смут-ным полком

Когда-а мы вождя хоро-нили... Он рычал, а хозяин, после каждого слова, стучал кулаком по столу так, что чайные ложки, подпрыгивая, звякали. К шестнадцати годам Платон вполне искусно выучился чинить большие и уставшие часы и увидел, что это неинтересно: механизмы всех часов, стенных и карманных, были почти одинаковы, а таинственная пружинка не действовала, если ее не скрутить. В шестнадцать лет Платон Еремин вытянулся длинным, сутулым парнем, его серовато-голубые глаза смотрели невесело и недоверчиво, белесые брови хмурились; ходил он по земле нетвердо, покачиваясь, глядя под ноги себе; на его голове, большой несоразмерно узким плечам, отросли светло-желтые, длинные волосы; пряди волос падали на щеки ему, он часто отбрасывал их за уши небойким жестом худой руки с длинными пальцами. Ананий сказал ему: – Ты стал заметно похож на сочинителя стихов, т.-е. на поэта, в роде Фофанова, который должен мне семь тридцать и не отдает. Но – не распускай губы, рот надо закрывать. Я знаю, что это от задумчивости, но не надо, чтобы все люди видели: вот юноша думает. Платон неясно представлял себе каковы поэты, но после слов хозяина начал одеваться щеголеватей. Он жил одиноко, не находя друзей, сосредоточенный на каких-то недовольных, невеселых думах; они свернулись в голове тугим клубком и не развертывались, должно быть потому, что их подавляло мутное и тягостное влечение к бойкой горничной домохозяйки, Анюте; встречаясь с ним на дворе, на улице, она, подмигивая рыженьким, куриным глазом, спрашивала: – Как живем? – По-вчерашнему, – отвечал Платон, чтобы не говорить обыкновенных слов. Он был недоволен собою за то, что его тянет к этой бойкой, навязчивой и нечистоплотной девице; у нее был роман с подмастерьем Гильома, Лютовым, который глупо высмеивал длинные волосы Платона и вообще издевался над ним; недоволен был Платон собою и за то, что ему не удавалось внести в жизнь свою ничего интересного. Он пробовал приучить мышонка и случайно задавил его; было очень неприятно видеть, как этот серенький комочек живого, лежа на боку, дрыгает розоватыми лапками, а черненькая горошина глаза блестит на острой мордочке, точно пытаюсь скатиться с нее. Приобрел Платон кутенка пуделя, – кутенок издох, заболев чумою.

Не удалось и еще кое-что; горничная Аня оказалась отталкивающе бесстыдной; целуя, она кусала и мычала, потная и липкая, она вызвала у Платона ощущение брезгливости, какой-то утраты и ожога, казалось, что поцелуи оставили несмываемые пятна на лице и на шее его. Работал он добросовестно, но у него явилось тревожное опасение, что хозяин скоро и так же неожиданно умрет, как умер ветеринар Беневоленский. Еще накануне Софрон, презрительно и гневно надувая радужные щеки свои, убеждал Анания: – Ф-фу, чорт! Где логика? Ведь если жизнь естественна, значит сопротивление ей противоестественно! – Пойми, Софрон, я не сопротивляюсь. – А зачем протестуешь? – Когда человек хочет покоя, он волнуется. – О, дурак! – крикнул Софрон, ушел, а ночью умер на улице от паралича сердца. Похоронив друга, Ананий сказал: – Хороший был человек, но не верил фактам. – Что такое факты? – спросил Платон. – Это – события жизни, – ответил хозяин не сразу и неясно. Всегда стараясь придать непонятым словам какой-нибудь образ, Платон представил себе факты похожими на уток домохозяйки; жирные и прожорливые, они крякали на дворе дважды в день, утром, когда Аня гнала их на пруд, и вечером, когда они возвращались домой, точно купчихи из церкви, самодовольно лоснясь чисто вымытым пером. Пытаясь развлечься, Платон накормил уток остатками слив, на которых была настоена водка; жадные птицы тотчас опьянели, и было очень забавно смотреть, как они, открыв клювы, бессильно и нелепо распуская крылья, влачили их по двору, качались на коротких ножках, квакали не своими голосами, точно смеясь, сталкивались, щипали одна другую и падали на бок, странно похожие на подпивших базарных торговков. Смешнее всех вел себя селезень: воткнув нос в землю, он приподнимал поочередно ноги и тряс задом, как бы желая перекувырнуться; это не удавалось ему, он, распуская крылья, хлопал ими по земле и хохотал: – Кха-кха-кха-а! Потом он издох и, следуя его примеру, издохли две утки; домохозяйка взыскала с Анания деньги за это, а он ворчливо сказал Платону: – Если ты сделал это намеренно, – это, брат, плохо: утки тоже не хотят умирать. Вздыхнув со свистом, он добавил: – И вообще тебе следует вести себя сообразно твоей скромной наружности. Он редко поучал Платона; он даже тайнам ремесла учил его небрежно и как-то нехотя. Платон долго не мог привыкнуть к тому, что этот толстый, пьяненький чудаков не умеет или не хочет сердиться. В тех случаях, когда

О тараканах. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

ученик делал что-либо не так или портил, хозяин, надувая тугие щеки еще туже, спрашивал его беззлобно, с удивлением: – Как же это ты не понимаешь? В спокойном удивлении этом Платон чувствовал что-то почти так же обидное, как обидны были картавые насмешки парикмахера Лютова. – Почему вы никогда не сердитесь? – спросил он Анания за вечерним чаем. Ананий, переплеснув глаза через ободок очков, ответил вопросами: – А зачем? Что же переменится, если я рассержусь? – Все сердятся, – напомнил Платон. – Бесполезно, – сказал хозяин. – Факты всегда будут против. Ананий все более толстел, надувался, дышал тяжелее. Удивительно было его спокойствие, оно не покинуло Анания ни на минуту и в ту ночь, когда загорелся флигель, где жила хозяйка. – Вставай, пожар, – разбудил Ананий Платона и, натягивая брюки на толстейший свой живот, он скорее советовал, чем приказывал. – Пожалуй огонь перекинется на нас: укладывай стенные в ящики, а я соберу мелкие. Одеваясь, Платон смотрел в окно и видел, что флигель, размахивая красными, дымными крыльями, отрывается от земли в черное небо осени, а сараи дрожат, качаются, рвутся в огонь, по двору мелькает маленькая круглая хозяйка, похожая на курицу, и визжит: – Анна, – утки! Анка, – уток... – Постой, кажется?... – вопросительно произнес Ананий, взмахнув рукою, показывая пальцем в окно. Платон перестал грохотать ящиками, на которых спал, прислушался к треску и вою на дворе, а хозяин, отодвинув Платона, пошел к двери, невнятно промывав что-то. Испуганный Платон выбежал за ним во двор, тотчас же наткнулся на Лютова, который, подпрыгивая как хромым, кричал: – Сгорит, сгорит... Кричали все люди, бегая по двору, вынося на улицу узлы, мебель, толкая друг друга. – Горничная, – сказал Ананий и покатился к флигелю, дышавшему черным, теплым дымом. Идя, Ананий закатывал рукава рубахи, точно собираясь бить кого-то. Лютов бросился за ним, сильно толкнув Платона. – Свинья, – обругал его Платон и, на момент, примерз к земле, видя, что хозяин входит в дверь флигеля, фыркавшую дымом; Платону показалось, что этот старик, никогда не молившийся, перекрестился, входя на крыльцо, точно он шел в церковь. Тут Платон что-то понял, чего-то испугался почти до потери сознания, взвизгнул и, согнувшись, побежал за хозяином в дым, увидел его влезавшим по лестнице на чердак, оттолкнул, обогнал и, кашляя, задыхаясь, закрыв глаза, прыжками вбежал в треск и жар, действуя как в сновиденьи. Споткнувшись, он упал на колени и увидел в дымно-красном облаке у открытой двери в комнату горничной ее голые ноги, высунувшиеся из-под ситцевого, пестрого одеяла, окутавшего ее тело до колен; одеяло дымилось, красные кусочки, вшитые в него шевелились, как языки огня; у Платона трещали волосы, сохли глаза; ползком он добрался до ног горничной и потащил ее неожиданно легкое тело к лестнице, быстро скатился ступени на три, рванув за собою голое тело, схватил его, взвалил на плечо и понес; тут его сбила с ног струя воды, больно ударив в грудь и лицо; последнее, что осталось в памяти его зрения – два медных шара, раскаленных до красна. Очнулся он на постели хозяина. Ананий сидел в ногах у него, домохозяйка у стола и, всхлипывая, терла картофель о терку; крикливо картавил Лютов. – Ну, что? – спросил Ананий, положив ладонь свою на колено Платона, а Лютов крикнул: – Ты, чорт, храбрый! – Волосы-то придется остричь, – сказал Ананий, подавая Платону мутное питье в стакане; горящими пальцами взял стакан, выпил что-то противно кисленькое, пощупал голову, пальцы его коснулись сухой корки, она рассыпалась под пальцами. – А лицо у меня как? – спросил он. – Брови сгорели, – сказал Ананий, – руку ожог, а вообще, – все хорошо. Домохозяйка, приложив к левой руке Платона тертый картофель, ушла, ушел и Лютов; Платон ощупал все тело свое правой рукою, отыскивая боль, не нашел ее и пожалел сгоревшие волосы, – не скоро отрастут они так пышно, какими были. Потом он крепко уснул и проснулся вечером; багровые лучи солнца освещали на дворе искусанные огнем доски, бревна, шкаф с отломленной дверью, набитый венскими стульями, черный хаос на месте флигеля и среди хаоса – круглую кафельную печь; возвышаясь колонной, она очень напомнила памятник на кладбище, медный квадрат вентилятора усиливал это сходство. Вспоминая о том, что он сделал ночью, Платон чувствовал страх, почти не верил, что все это было так, как он помнил, и ему хотелось, чтоб люди рассказывали о его подвиге. Люди охотно удовлетворили его желание: Ананий, Лютов, домохозяйка – сорокалетняя маленькая с глазами овцы дворник Федор и все говорили о бесстрашии его восторженно, а хозяйка особенно горячо восхищалась. – Анна ничего не помнит, – тараторила она, – даже не поверила, дура, что это ты вытаскивал ее. Говорит, что, проснувшись, увидела огонь, укуталась одеялом и, с разбега, ударилась обо что-то, разбила себе все лицо... Нет, какой вы герой... Рассказы о героизме его Платону было приятно слушать, но судьба Анны не трогала, хотя он молча гордился тем, что именно он вытаскивал ее из огня, а не Лютов руками пахучими, как руки покойника. Ананий сообщил, что может-быть Платону дадут медаль "за спасение погибавшей". – Если не подгадит брандмейстер, он, конечно, говорит, что не ты спаситель, а тебя команда спасла... – Др-рянь, – обиженно сказал Платон. Он стал героем улицы и сначала

это ему так нравилось, что у него даже походка стала другой, он ходил напряженно, как солдат, выпятив грудь, держал голову прямо и смотрел на всех, сурово сдвинув брови. Но скоро он заметил, что роль героя очень требовательна: все люди ждут от него еще каких-то необыкновенных поступков, ждут, когда он снова полезет в огонь? Почти каждый раз, как только в городе возникал пожар, в магазин врвался наглец Лютов и кричал: – Платон, горит, бежим! Платон отказывался бежать, думая с негодованием: – Какой дурак! Особенно неприятно и даже опасно почувствовал он себя, когда явилась горничная благодарить его. В больнице она похудела, остриженная голова ее напоминала головню, смуглое лицо казалось закоптевшим и от нее пахло жареной печенкой, которую Платон терпеть не мог. Одета в синюю юбку и голубую бархатную кофту, пропотевшую под мышками, она была похожа на воровку. Ее хитренькие глазки смотрели в лицо Платона требовательно и говорили так, как-будто это он должен благодарить ее за то, что она жива. – До этого случая все считали тебя робким, а теперь уважают, – намекала она. – Чорт тебя возьми, – думал Платон, отвечая ей сердито и громко, чтобы слышал Ананий, работавший в магазине. Уходя, Анна спросила, с улыбочкой: – Загордился немножко, а? – Нет, зачем же? – пробормотал Платон. Да, роль героя – обязывает. На святках Лютов стал уговаривать Платона: – Ты – храбрый, будь другом, помоги мне и одному телеграфисту избить певчего, а? Он, певчий, несильный, мы бы и вдвоем вздули его, да у нас смелости не хватает. Помоги, а? Платону не хотелось бить певчего, но он понимал, что, отказав Лютову, потеряет в его глазах, и что некое чувство, подобное самоуважению, обязывает его помочь Лютову. – Хорошо, – сказал он, – только я палку возьму. Певчий, действительно, оказался тощеньким человечком, курносый, с рыжими усиками в стрелку, очень похожим на таракана-пруссак. Он был до смешного близорук; для того, чтоб поймать на столе ресторана стакан пива, он, прищурясь, откидывался на спинку стула и все-таки протягивал руку осторожно, как слепой. – Первый тенор, солист, Дробятин, – рекомендовал он себя Платону. На указательном пальце его правой руки блеснул тяжелый перстень с рубином, – Платон сразу понял, что перстень "нового золота", а рубин – стекло. Держался первый тенор пренебрежительно, зачем-то часто трогал булавку с красным камешком, воткнутую в его голубой галстук, а близорукостью своей надоедливо хвастался. – Доктора говорят, что я замечательно близорук, аб-со-лю-тно, говорят они, а уж если аб-со-лю-тно, то больше желать нечего. Я перебил неисчислимое число посуды. Лицо ваше, Еремин, для меня смутное пятно и больше ничего. – Это всякий может, – задорно говорил Лютов, сильно выпив для храбрости, и подмигивал Платону, толкая под столом ногу его. Платон видел, что певчий безобидный хвостун, жалел его: за что он будет бить такого человека? – А где телеграфист? – строго спросил он Лютова. – Лютов сконфуженно ответил, что телеграфист пьян и не мог притти. – Га! – произнес первый тенор гусиное слово и, сардонически усмехаясь, сообщил Платону: – Телеграфист – враг мой, мы с ним охаживаем одну интересную девицу, а перевес на моей стороне, как солиста, а он хочет меня бить, этот телеграфист. Но – я купил кастет, вот он. Вынул руку из кармана, он показал Платону маленький рыжеватый кулачок, вооруженный железными шипами. – Если он этой штукой ударит по лицу? – сообразил Платон и отодвинулся от солиста. – Костин этого не побоится, – заметил Лютов и попросил, протянув руку: – Покажи. – Га, – сказал певчий, спрятав кастет в карман. – Значит, я ухожу, – заявил Платон и ушел, не простясь с Лютовым и тенором, ушел в густую мятель, но Лютов, догнав его, толкнул плечом, подпрыгивая шагал рядом и дразнил: – Струсил? Не ожидал я, что ты струсишь! Стыдно... Платон остановился, оттолкнул его, ударил палкой по голове, еще и еще. – Меня? – изумленно крикнул Лютов и, подпрыгнув, исчез в облаке снега, а на место его, точно сверху упав, явился певчий; неожиданное появление его испугало Платона и в то же время он почувствовал, что теперь, когда он побил Лютова, справедливость обязывает бить и певчего. Дважды, молча ударив палкой по голове маленького человека, он прислонился спиной к забору, ожидая нападения, но тенор, подняв шапку, сбитуя ударом, потряхнул ее, надел на голову и сардонически спросил: – Это за что? Не ожидая ответа, он тоже быстро исчез в густой каше снега, сказав оттуда: – Эх, дикие свиньи... Тогда Платон, очень смущенный и негодуя на себя, крикнул вслед ему: – Извините... Я ошибся, я думал... Лгать было бесполезно, ему не ответили; шуршал снег, приглушая вечерний шум города. Платон медленно пошел домой, чувствуя себя одураченным, испытывая горестное недовольство собою, осыпаемый хлопьями мокрой ваты снега. Снег падал все более густо и чем дальше Платон шагал, тем более съезживались и тускнели в этой холодной каше желтые огни фонарей. – Не удастся мне интересная жизнь, – думал он и спрашивал себя: – А что значит жить интересно? Все жили скучно: Ананий, с его былыми спорами, хозяйка в заботах об утках, Лютов, влюбленный в книжку сберегательной кассы, он читает эту свою книжку как мальчик пятачковую сказку. Неинтересно живут приказчики с их тревожной, суетливой беготней за швейками. Неужели не скучно жить первому тенору

О тараканах. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

с его фальшивым перстнем? Конечно, Ананий спорил с ветеринаром от скуки, так же как от скуки дворник Федор ежедневно играет в карты с поваром адвоката Интролигатина, адвокат же каждую ночь уходит в клуб играть в карты. Если б жизнь была интересна, никто не играл бы в карты. Все более тягостно он чувствовал эту всюду, как дым, проникающую скуку, но не мог понять, чего он хочет, и не пробовал искать, где скрыто интересное, непохожее на то, чем заняты все люди. У Анания было несколько толстых книг: "Краткий курс механики", "Сон и сновидения", "История умственного развития Европы" и еще какие-то, штук пять - все это были книги непонятные, и даже сам Ананий уже не читал их, а "Историей умственного развития" покрывал миску молока, которое пил ночью и утром, натошак. Платон видел, что горничные и швейки смотрят на него все более благосклонно, но не соблазняясь, зная, что романы влекут за собою множество неприятного и, между прочим, вызывают ревность, которая делает необходимыми заговоры и драки, как это подтвердил случай с тенором. Кроме того романы требуют какой-то особенной ловкости слов и умения бесстрашно, нагло лгать, как лгал Лютов, а Лютову Платон не хотел подражать ни в чем. В доме явилась новая квартирантка, нахлебница домохозяйки, Петрунина, телефонистка, прямая как солдат, с длинными ногами, в пенсне на красненьком носу. Платон чинил ей часы, с той поры она здоровалась с ним очень ласково: - Алло, Еремин! Но и это было не то, чего хотел бы Платон. То, чего он хотел, убедительно подсказал ему англичанин Лесли Мортон, эксцентрик; этот необыкновенный человек был решающим впечатлением юности Платона Еремина, он в несколько минут распахнул перед ним дверь в мир необычного и чудесного. Он обладал изумительно разработанным умением делать все не так, как делают обыкновенные люди. Сильный, ловкий, он ходил на вывернутых ногах, походкой какой-то большой, пьяной или безумной птицы и совершенно серьезно говорил птичьим голосом. У него и ступни ног были кожаными лапами птицы, да и весь он казался оперенным, обладающим невидимыми крыльями. Садясь на стул, он перекидывал ноги через спинку его и все делал так, что было ясно: иначе делать он не любит, не хочет, хотя и умеет. Он создал для себя забавнейший и даже несколько жуткий мир, в котором все вещи открывали ему какие-то свои смешные стороны, мир, в котором самого Мортон ничего не удивляло, но все изумляло людей своей неожиданностью и капризным отсутствием здравого смысла. Когда Мортон закурил сигару, голубой дым ее курчаво и обильно пошел из его лысины, на которой была нарисована гора; мяч, брошенный им на арену цирка, превратился в куб, трость, положенная на стол, ожила, извилась змеею и сползла на песок, Мортон, поймав ее, проглотил. Сняв с головы цилиндр, он дымно выстрелил из него женской кофтой и ловко притворился, что это испугало его; брови Мортон перевернулись и встали на лбу двумя знаками вопроса. После этого, гибкий, но явно нарочито неуклюжий, он стал еще более загадочен, и Платону показалось, что англичанин рассказывает свое сновидение, воспроизводя его перед людьми со всею чудесной, необъяснимой сложностью. Было ясно, что этот человек с широким, красным лицом притворяется будто бы изумляясь всему, что он делает, будто бы испуганный чудесным, что он сам же открывает в вещах. Конечно, Мортон знал нечто недоступное обыкновенным людям и ложно удивлялся лишь для того, чтобы не пугать их. Обычное не существовало для него; все, чего он касался, он воодушевлял забавно внешней, но жутковатой глупостью, открывая во всем таинственное скрытое смешное; будильник в его руках пел петухом, а на циферблате будильника являлась зеленая роза и щелкала зубами. Все это отличалось от фальшивой игры обычных фокусников, и все Платон воспринимал как нечто исполненное серьезного значения, завидной свободы и власти над вещами. Лесли Мортон делал то, что хотел, так, как хотел, и никто иной не мог делать того, что он умел. Он жил по каким-то своим законам и дерзко показывал свое презрение ко всему, что Платону казалось непоколебимо установленным, законно и навсегда мертвым. Уже идя домой по улице, скупо освещенной сердито шипевшими огнями газовых фонарей, Платон шагал не своими ногами, вывернув колени, ставя подошвы косо, итти так было неудобно, а - приятно. Он снял шляпу перед фонарем, сказав ему: - Алло, фонарь! И ему показалось, что двуцветный веерок огня загорелся ярче, а окно дома усмехнулось. Взойдя на ступени церковной паперти, он скатил с нее свою соломенную шляпу и ему было приятно видеть изумление члена Окружного суда, Старостина, когда шляпа подкатилась под ноги старика, заставив его остановиться и придержать ее тростью. - Мерси, - пискливо сказал Платон. - Зачем это вы? - спросил старик. - Вы, кажется, трезвый? - Мы не пьем и не курим, - сообщил Платон птичьим голосом, а человек, привыкший осуждать, уверенно сказал: - Тогда это глупо. Платон, взяв шляпу в зубы, поднял руки вверх и пошел задом наперед, а старый судья, стукнув палкой о панель и затем грозя ею, крикнул: - Я знаю вас, часовщик! - Обиделся старый дурак, - с грустью сообразил Платон. - А на что обиделся? Не поступить ли мне в цирк? Он быстро убедился, что в этом нет надобности, можно очень интересно жить и в обычной обстановке, только следует делать все по-своему. Несравнимо

О тараканах. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

забавнее переставить стул с места на место не так, как это делают все, а сначала перевернув его в воздухе кверху ножками: после этого стул кажется более веселым. Приятно утром сказать самовару: – Здравствуй, пожарный! Этого никто не говорит. Платон ловко научился завязывать галстук на носу у себя, накинув ленту галстука на затылок и уши, он завязывал бант на носу и уже затем спускал его на шею, там затягивая узел. Входя в магазин, он, перед тем, как сесть за работу, почтительно целовал старинные английские часы, заключенные в гробоподобный ящик. Иногда он проделывал нечто неожиданное для себя и скоро понял: чем меньше думаешь о том, что и как надо сделать, тем более забавными выходят эти невинные развлечения. Игра увлекала его. Все вещи постепенно принимали в его глазах иной вид, каждая из них казалась скрыто одушевленной; с ними можно было говорить и хотя они не отвечали, но, казалось, уже начинают понимать что-то. Они как-будто теряли свою устойчивость, привычку к месту, просили о передвижении. Хрустальная вазочка на львиных бронзовых ножках, из которых одна погнута, была наиболее неустойчивой; в этой вазе Платон держал различные мелкие части механизмов; он приучил ее наклоняться в его сторону, постукивая пальцем по столу, но не касаясь вазы. Нередко в этой игре Платон уже ощущал страхок, испытанный им в цирке, задумывался и спрашивал себя: – А не сойду я с ума от этого? Но опасение это было мимолетно. Платон чувствовал, что темный камень в голове его становится легче, мягче, тает различными мыслями. Он окончательно убедился в своей способности делать необычное, прочитав наклеенное на заборе объявление какой-то аптеки: "Если ваш желудок плохо варит", говорило объявление; Платон вдруг выдумал и приписал карандашом отчетливо: "Берегитесь, это вас состарит". Неожиданный проблеск новой способности приятно удивил его и, не без гордости, он подумал: – Вот, могу и стихи сочинять. С вещами все шло хорошо; даже часы, надоевшие ему разнозвучным, но равнодушным чавканьем, стали как-будто интересней; однообразные циферблаты ожили, каждый из них приобрел свое лицо и хотя все часы, как раньше, считали время или забегая вперед, или отставая от старых английских часов, теперь Платону казалось, что каждые из них имеют на это свою тайную причину. Одни шли быстрее зимой и отставали летом, другие торопились днем и замедляли ночью свой ход; те отбивали счет минутам устало, эти – с явной радостью и вообще было ясно, что у каждого свой характер. О причинах их разногласия Платону не хотелось думать, не только потому, что он не любил часов, но и потому, что не умел вовлечь их в свою игру, это ему не удавалось. С людьми было хуже, люди не понимали его. Когда телефонистка Петрунина, стеклянно улыбаясь, сказала обычное: – Алло, Еремин! – Позвольте рекомендоваться: Платон Бочкин! – ответил он ей. – Нахмурилась, дернув головою как лошадь, она спросила: – Что такое? – Бочкин, эксцентрик, это – я! – Кажется, вы становитесь нахалом, – сообщила ему телефонистка. – Глупая, – решил Платон. Ананий терял зрение, у него тряслись руки, он стал больше пить, а выпив, мычал: – М-да. Может-быть. А, впрочем, все равно. Но и он сказал подмастерью: – Ты как-то вывихнулся, отчего это, а? Это, брат, плохо. Лютов тоже находил, что Платон кривляется: – Аристократа гнешь из себя, – говорил он. Непонимание обижало Платона, но все же было утешительно подмечать, что все люди стали смотреть на него внимательнее чем прежде, говорят с ним осторожней, а Лютов явно завидовал его жестам и манерам. Ананий все чаще, забывая смигнуть лупу из глаза, сидел, опустив руки на колена и молча думал над чем-то полчаса, час. – М-да-а, – мычал он и расплывался в кресле. Иногда он несколько минут гонял пальцем по столу часовое стекло или играл колесиками как маленький; иногда, стоя перед умывальником, писал что-то пальцем на воде, в тазу. Платон ревниво наблюдал за ним, пытаясь понять – что это: подражает ли хозяин ему или же, хирея, становится слабоумен? Вторая догадка оказалась ближе к правде, Ананий окончательно ослабел, обмяк и, виновато улыбаясь, сказал: – Вот и того... вообще. Напиши письмо сестре: умираю, приехала бы. Неприятнейшая баба. – Хм, – сказал доктор, приглашенный Платоном и, сунув руки в карманы, добавил: Да, надо лежать, а мы посмотрим. В магазине он спросил Платона: – Вы – сын? – Да, но не его. Доктор удивленно мигнул, взял рубль и ушел, сказав: – Плоховато. Ананий четыре дня молча лежал в постели, изредка улыбаясь слабенькой улыбкой. Приехали две старухи: одна – толстая, с палкой, с пучком седых волос на подбородке и тряпичным носом; другая – длинная, с маленькой, несогласно кивающей головою, в очках; она нюхала табак и чихала негромко, шипящим звуком, голос у нее тоже был шипучий, а на поясе позвякивало множество ключей. Они обе прочно уселись у постели Анания; очковая старуха, пренебрежительно назвав Платона молодым человеком, приказала ему вскипятить самовар. Самовар долго не закипал, потом начал незнакомо, недружелюбно посапывать и пищать, как бы требуя чего-то. – Налью в воду уксуса, – вдруг решил Платон, – пусть эта чихотня попьет кислого чаю. Он взял с полки бутылку, но темное стекло ее отразилось в меди таким неприятно грязным пятном, что Платон, отказавшись от своего намерения, мысленно сказал самовару: – Не хочешь? Ну, и не

О тараканах. Максим Горький gorkiymaxim.ru

надо. Ему было приятно услышать ворчание старухи: – Экая вода жесткая. Самовар-то, должно быть, года не лужен. Тринадцать дней сидели старухи, ожидая, когда умрет Ананий, и очковая каждый день уговаривала его позвать попа. – Успеем, – тихонько отвечал он, шевеля пальцами и в десятый раз спрашивал, поводя глазами на старуху с бородой: – Тетка-то жива? – Оглохла, а живет. – У-у, – говорил Ананий, выливая тусклые глаза на морщины под ними. – Смотри, умрешь без покаяния! Позову попа? – Успеем. Он умер тихонько на закате солнца, так и ускользнув от покаяния. Ночью старухи бесстрашно легли спать в комнате на полу, а Платон ушел в магазин и, сидя там, слушал как возится, брякает ключами и шипя чихает очковая; слушал и думал, что Ананий лежит выше старух и было бы хорошо, если б он свалился на них. Неугомонно чмокали и чавкали маятники, шуршали за отклеившимися обоями тараканы; было тоскливо и думалось о том, что надо искать другое место. Луна, тоже подобная маятнику часов, прыгала по синим ямам, среди облаков; дымные облака поспешно плыли на запад и казалось, что тени их стремятся опрокинуть каланчу, столкнуться с нее пожарного. Платон вырвал из книги заказов лист бумаги и стал сочинять стихи, чтобы одолеть скуку. Сначала у него пошло хорошо:

Облаками окутана

Возвышается каланча

И днем, и ночью тут она.

И, будто ангел без меча.

Пожарный солдат на ней,

Сторож вредных огней... – Чвак-чок, чмак-чок, – чавкали маятники мешая сочинять. Дальше стихи о пожарном не шли. Платон долго думал: что еще можно сказать о пожарном? Но, ничего не выдумав, зачеркнул написанное и стал сочинять другое.

По ночам, – сплю ли я, не сплю ли,

Я знаю: изо всех щелей,

Окружающих меня вещей,

Вылетают, как пули,

Разные думы.

Например: стул

Производит некоторый гул,

И я понимаю его ропот... На слово ропот подвертывалось, почему-то, неприличное слово. Платон усердно искал другие и не находил, а неприличное лезло все назойливее, казалось, что стул требует именно это пошлое словечко, не соглашаясь с другими. Платон задумался: вот и слова, даже самые простые имеют, так же, как все вещи, свой характер, свои упрямые требования. Все связано, спутано, и только Лесли Мортон умеет разрывать эти путы и связи. Думать об этом было интересно, но не удалось; дверь за спиной Платона скрипнула, из черной щели высунулась маленькая, гладкая головка очковой сестры Анания; придерживая тело свое рукою, похожей на лапку ящерицы, сестра ядовито зашипела: – Вы, молодой человек, напрасно сопите... – Как? – спросил Платон. – Так. Вы сопите совершенно напрасно: все сосчитано и записано. – Что такое – записано? – спросил Платон сердито, испуганно. – Все, все вещи и часы, да-с. Запись у меня. И пожалуйста не выдумывайте глупостей. Есть полиция и есть суд. Платон повернулся к ней спиной, обиженно пробормотав: – Я вас не касаюсь. Очковая шипела: – И не смеете, и не можете. Всем известно, что покойник был полуумный, есть свидетели! Она чихнула и на этот раз так грозно, что загудели боевые пружины всех стенных часов. А притворяя дверь, старуха напомнила: – Есть суд. Тихонько обругав ее, Платон посмотрел на стихи: они были написаны кривыми строчками, напоминали развалившийся забор и было в них что-то неприятно рыжее, это, конечно, от чернил. На стихах о пожарном сидел таракан, поводя усами, казалось, он читает и ему не нравятся стихи; Платон сшиб его щелчком и начал ставить крестики на каждую букву, буквы приняли сходство с мухами, тогда он стал приделывать буквам

О тараканах. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

усики и на бумаге явились ряды тараканов. Уничтожив стихи, Платон написал четко и твердо: "Таракан не вреден, а противный и ни к чему". С утра началось нечто весьма обидное: пришел полицейский чиновник, жесткий, цинкового цвета, с острыми локтями, он привел гладко причесанного человека в мундире со светлыми пуговицами и ювелира Паламидина, прозванного Грек. Очковая старуха, наталкивая их всех, поочередно, на Платона, шипела: - Он всю ночь сопел против моих прав. Он бумаги рвал, заметьте! Полицейский и гладкий допрашивали Платона как жулика, а Грек нашел в книге заказов бумагу с тараканами, носом прочитал ее и подал гладкому: - Господин следователь, тут какое-то соображение написано. - Чепуха, - сказал гладкий человек. А старуха насвистывала, шипела: - Покойник был полуумный, он в бога не верил и даже отверг родных. Он семнадцать лет прятался от нас. Грек водил масляными глазами по рожицам часов, шевелил бритой, синей губою и считал что-то на пальцах, тихонько, в такт маятникам, причмокивая. Платон знал, что об этом ювелире ходят по городу очень темные слухи, что пробирная палата дважды привлекала его к суду; Платону казалось, что из голых глаз Грека вытягиваются темные, паутинные лучики и все в магазине связывают, оплетают. Когда полицейский и следователь ушли, Грек, затворясь в комнате с очковой старухой, говорил там с нею о чем-то вплоть до вечера, когда поп и дьячок пришли служить панихиду: за панихидой Грек, потный, растрепанный, горячо шепнул Платону: - Покупаю магазин со всей требухой, - остаешься? - Я... позвольте подумать, - ответил Платон, наблюдая, как улыбаются кадило, голуловато дымя, весело позвякивая и пресекая желтенький пыльный луч солнца. - Думать можно, но не много, - разрешающе сказал Грек. Было как-то странно и даже неловко видеть, что смерть Анания ничего не изменила, только остановились дешевенькие стенные часы, большой черный таракан залез в механизм, неудобно погиб там, и жалкий труп его остановил движение колес. Платон равнодушно сел в кресло Анания, к столу, против окна, а для услуг ему и уборки магазина Грек втолкнул с улицы рябого, шершавого мальчика Коську, сказав ему: - Помни, шельма: глух, слеп, нем! Остроглазый Коська оказался человечком понятливым, ловким и усердным, а ювелир Паламидин был человек чем-то воспаленный; он дергался так, как-будто у него одновременно и нестерпимо зудела вся кожа, он хватал себя руками за плечи, колена, шлепал ладонью по затылку, по усатому лбу, щипал пальцами Адамово яблоко, заросшее колечками двуцветных волос, щипал грязные усы, похожие на щеточку для ногтей. Глаза его, быстрые, беспокойные, обливали все вокруг горячим маслом; даже когда Грек сидел, он качался как в лодке, плывущей по бурной реке, а когда шел, земля как-будто коробилась под его ступнями, длинными как лыжи. Его тощенькое, темнокожее тело, закопченное в каком-то очень густом дыму, источало солоноватый запах ветчинной колбасы; он очень любил рахат-лукум и ел его за чаем как хлеб. Он спрашивал Платона: - Любовницу имеешь? В карты играешь? А - на биллиарде? И выслушав краткие "нет" Платона, щипал свой кадык, удивляясь: - Как же ты живешь? Не похоже живешь. Ты скрываешь что-то, а? Врешь, а? Он вскакивал в магазин всегда неожиданно и так, точно украл что-то, а за ним гнались; он являлся то рано утром, когда улица еще только просыпалась, то стучал в окно со двора ночью, когда весь город уже спал свинцовым сном, и только в публичном доме Мелиты Исааковны Шварцман тапер, кривоногий, похожий на рака, неумоимо выколачивал из рояля вальс "Дунайские волны". Под звуки этого вальса Платон думал о какой-то неотразимо обаятельной и невероятно несчастной вдове, измученной любовью и ожидающей утешения за городом, под омутом, в котором Платон хотел утопить себя; там стоит она в белом платье, с распущенными волосами, очень похожая на знаменитую укротительницу львов, девицу Зениду, которую львы съели; стоит, вычерчивает концом зонтика узор на песке и прекрасными, добрыми глазами смотрит на огромный, черный блин омота и на масляную каплю луны посреди его. Под звуки вальса "Дунайские волны" всегда хотелось сочинять жалобные стихи, и Платон усердно писал их, но проклятые скользкие слова упрямо не укладывались в строки, не звучали в такт вальса, а расползались по белизне бумаги корявым узором мертвых, беззвучных знаков. Раздраженный бесплодным напряжением выразить нестерпимо волнуемое, Платон видел, что эти черненькие знаки, сползая с конца пера, шевелятся на бумаге, растут, беспокойные и мохнатенькие, точно глаза Грека, шевелятся, как-будто издеваясь над Платоном. Тогда он мстительно давил каждый знак крестом, и бумага густо покрывалась крестами как тот угол кладбища, где зарывали нищих. Ряды этих крестиков вызвали одуряющую скуку, и она, еще более обижая Платона, заставляла его приписывать крестикам ножки, усы, кружочки глаз, остренькие уши, пятипалые лапки, и вот, с листа бумаги на него смотрел созданный им мир толстеньких уродцев, длинные ряды существ, которые безмолвно убеждали его, что он все-таки способен создавать нечто свое, тоже капризное как слова и утешительно непохожее на скучные колесики часов. И было как-то горестно приятно хоронить свои мыслишки под черными крестиками... Скоро после смерти Анания в городе начался мятеж, по улице пошли люди с флагами и портретами царя, они

О тараканах. Максим Горький gorkiymaxim.ru

сбивали кулаками шляпы с прохожих, ударили и Платона палкой, отломив кусок поля его соломенной шляпы. Мятежниками командовал маляр Дерябин, в красной рубашке, толстый, он был удивительно и даже страшно похож на раздраженного снегиря, он неистово орал "Боже царя храни", и Платону казалось, что язык у него так же черен, туп и толст как у этой проклятой птицы. Мятеж продолжался несколько дней и был прекращен пожаром на заводе спирта, но за эти дни Платон тоже почувствовал себя мятежником, оскорбленным человеком, которого безвинно бьют палкой по шляпе; было и еще что-то оскорбительное в этом мятеже маляра Дерябина, как-будто маляр возвращал Платона к прошлому, под лестницу, навязчиво воскрешая воспоминания о ночном шорохе тараканов, свисте снегирей, побоях отца. Вспомнив, как он уже дважды ловил тараканов и мух на портрет царя, Платон купил за десять копеек раскрашенное изображение голубоглазого человека с подписью под ним "Благоверный" и "Вождь народа", густо смазал его патокой, смешанной с гуммиарабиком, и прикрепил к стене комнаты. Тараканов погибло немного, но мухи покрыли портрет почти сплошь, так что Грек, видимо, даже не узнал, кто это изображен. - Ага, сколько приклеилось подлых, - сказал он, мельком взглянув на ловушку, и задумался, почесывая грудь, против сердца. А за чаем он сказал: - Ты, Еремин, соблюдай осторожность, чуть услышишь - идет это стадо, магазин запирай. Эти скандалы не для нас, будь человеком независимым, ни туда, ни сюда. Это шум для дураков, а твое дело умное: поел, попил, полюбил да помер. На остальное - плюй с горы. Обжигаясь, он торопливо хлебал чай, жевал черными зубами вязкий рахат-лукум - он приносил его с собою в кармане рыжего, мохнатого пальто с перламутровыми пуговицами, потирал лицо так крепко, как-будто хотел сломать свой копченый нос, и бормотал. - Ты - помалкивай, да! Дни эти хорошо пахнут. Все обалдели. Картошку за яблоко съедят, а не то, что... Да. Теперь - р-раз! И - готово. Хватит на все продолжение жизни. В Крым поеду. Даже на Кавказ, может-быть. А - в Вену? И в Вену можно... Да. Где Паламидин, Эраст? Как! Достань-ко его голой рукой! Платон не чувствовал желания понять болтовню Грека, но Грек, забавный и непохожий на обыкновенных людей, нравился ему. Однажды Платон спросил его: - Вы женаты, Эраст Константинович? Грек удивился: - Я? Еще бы. Я, брат, так был женат... У меня даже и дети были. О-у! Он закрыл глаза, свистнул тихонько и горячо, с гордостью, сказал: - А теперь у меня любовница. Это все знают, чудак. Третья. Необыкновенная, по-французски говорит, в оперетке пела, у нее ножка сломана... Любовница, братец, дело дорогое. Одни ботинки - ого-го! Не говоря о шляпах. Ботинки, братец мой, это очень тащит рубль! Очень. Ну, однако, - необходимая вещь: человек начинается с головы, а женщина - с ног. Запомни! Иногда Грек, являясь ночью, со двора, приводил тоже очень интересного человека британого как повар, красивого как женщина и ласкового точно собака. Был он среднего роста, очень строен, ловок подобно акробату, костюм сидел на нем как трико. Был вежлив; серые глаза его ласково улыбались, всегда обещая сказать что-то необыкновенно милое, интересное, но говорил он с великой осторожностью, вполголоса, так бережно, как-будто он отливал слова свои из тончайшего стекла. В нем было что-то приятно-ленивенькое. Левую руку он всегда держал в кармане брюк, тихонько побрякивая, позванивая там монетами. Платон заметил, что иногда человек этот, раньше чем ответить на вопрос, вынимал из кармана золотой, крутил его на столе, внезапно накрывал ладонью и, если монета ложилась орлом вверх, - он отвечал отрицательно, кратко: - Нет. Грек называл его Агатом, Агашей, порхал вокруг летучей мышью, и уговаривал: - Агаша, да прими же в расчет дурость времени, обалдение людей. - Не винтись, Грек, грешник, - ласково отвечал Агат, прихлебывая из чайного стакана темное вино, от которого исходил странный запах клопа и ладана. - Ой, Агат, - вздыхал Грек. - Не мешай судьбе, - говорил Агат. Платону очень хотелось понять, чем занимается этот щеголь и красавец и чем еще, кроме своего мастерства, занят Грек? Почему он ходит с Агатом по ночам и становится все более беспокойным? И вот, однажды утром, когда Грек, натрепав за что-то уши Коське, исчез, Платон подумал вслух: - Что он делает? - фальшивые деньги, конечно... - 3-3-3, - процедил Платон сквозь зубы, испуганно повернувшись в кресле, глядя в угол, - там в пыльном сумраке, пауком сидел на полу Коська, скрепляя порванные цепи гирь, щелкая плоскогубцами, и качал бритой, медноволосой башкой. - Зачем? - спросил Платон. - Т.-е... - Н-ну, - ответил Коська тихо и сердито, - хочет хорошо жить. - Врешь, - сказал Платон, уже зная почему-то, что Коська прав. - Ну, - отозвался шершавый мальчик. Платон, смигнув из глаза лупу на ладонь, как это делал Ананий, задумался: - Такой щедушный, живет без слов, как мышь, а - вот что знает! Фальшивые деньги, конечно, так и есть. Грек погубит меня, чорт его возьми. Надо искать другое место. Даже уехать в другой город. Темным волнующим ручьем протекали быстрые минуты, полные тревоги. Коська в углу позвякивал цепями, напоминая о кандалах арестантов, которые ежесечно проползали серой вереницей крыс по улице к вокзалу. Чувствуя себя развинченным, ослабевшим от испуга, Платон, искоса поглядывая на медный шар

О тараканах. Максим Горький gorkiymaxim.ru

Коськиной головы, сказал: - Болтаешь зря, ерунду... - Я только вам. - Из твоей башки десяток маятников надо бы нарезать. - Чать голова внутри пустая, - удивленно напомнил Коська и прибавил: - А вы - не деретесь. - Нет, его не испугаешь, - снова задумался Платон. - И не за что пугать, это хорошо, что он сказал. До этих минут мальчишка ничем не удивлял его, он казался глупым, как все мальчишки, тараканов называл "ползуканами", а разбив чайный стакан, сказал: - Какое стекло всегда бойкое! Однажды, посланный Агатом в дом Мелиты Шварцман, Коська принес оттуда большой ворох разноцветных лоскутков. - Это что? - спросил Платон. - Лоскуточки. - Надо говорить - лоскуточки... - Почему? Платон не знал - почему. - А зачем тебе? - Сестре. Почему-то не верилось, что у такого пыльного человечка есть сестра. Вспомнив все это о Коське, Платон подумал, что мальчишка, может-быть, только притворяется глупым, а на самом деле он - хитрый и приставлен следить за Платоном. - Уйду отсюда... Вечером, тревожно звякнув всеми стеклами и колокольчиком, распахнулась дверь с улицы, вторгся Грек, густо посоленный снегом, и начал ругаться: - Погода, чорт, гадость... Платон смигнул на ладонь лупу и сказал торопливо, но со всей твердостью, на какую был способен: - Я не хочу больше работать у вас, рассчитайте меня. Грек, снимавший пальто, развел руки, и пальто повисло за спиной его как огромные крылья. Он спросил: - Это что еще? И обвел Платона строгим, связавшим его взглядом. - Дурак. - Не ругайтесь, я не мальчик. - Еще в морду дам, - обещал Грек и крикнул Коське. - Прими пальто, не видишь? Он быстро прошел в комнату, толкнув Коську вперед себя; минуты через две шопота Коська взвизгнул: - Дяденька, - ой! Вы сами велели... Дверь отворилась, Коська стремглав бросился на улицу, загредел ставнями окна и двери, вогнал с улицы в магазин темноту. Платон, вздохнув, подумал: - Не буду зажигать огонь и не пойду к нему. Но Грек сам вошел в магазин, налил его светом электричества и сразу ожег Платона струею горячих слов. - Так, значит, я делаю фальшивые деньги, да? Он топнул ногою и понизив голос, спросил: - А кто царские портреты патокой мажет? А кого вешают за это? Кого в каторгу? Царь-то где? Вот я покажу его так, как он есть, с мухами, царь-то у меня спрятан! Ты, дурак, бабьи волосы, думаешь: это - шутки? Слова Грека не очень пугали Платона, но жутко было это копченое, чернозубое лицо, и нехорошо сверкала голые, грязно масляные глаза. Грек говорил быстро, следить за его словами Платон не успевал, и ему казалось, что Грек играет им, подкидывает его как мяч: угрожая, издеваясь, посмеиваясь и успокаивая, он не давал верить ни угрозам, ни утешениям. Было бы лучше, понятнее, если б он только грозил, но он насмеялся: - Орясина, я нарочно научил мальчишку испытать твою скромность, а ты ему поверил. А вслед за этим он спрашивал: - Деньги делает - кто? Царь! А царь тебе - кто? Ну? - Не знаю, - сказал Платон, вспомнив побои отца, трепку ветеринара, угрожающее пение маляра Дерябина, свист снегирей. - Не знаешь, а патокой мажешь? Врешь, у тебя тайное знакомство со студентами. Сибирь тебе! Слова Грека брызгали точно корка лимона, если ее крепко пожать, и весь он трепетал как петух бегущий против ветра. - Царь живет на твои деньги, в каждом его рубле девять гривен твои, даже девяносто три копейки, - можешь это понять? Даже Коська понимает, что царь живет на наши деньги... Пришел Агат, вежливо поздоровался с Платоном, улыбаясь выслушал рассказ Грека о том, как ловко Коська уличил Платона в легковории, и сказал, вздохнув: - Ерунда. Потом, разглядывая черный ноготь пальца на левой руке своей, прибавил: - Надо что-то делать решительно. - Беспокоит? - осведомился Грек. - Хоть отрубить. Платона укусил страх, заставив подумать, что эти люди могут и его отрубить как больной палец. Ясно, что Агат пришел не случайно. Грек посылал за ним Коську, вот мальчик воротился и возит в комнате. - Даже Коська, - повторил Грек, вскочив и надевая пальто, а Платон, чувствуя себя связанным, зажатым в тиски, сказал примирительно: - Коська очень умный... - То-то же, - проворчал Грек и, встряхнув с шапки растаявший снег, ушел. Агат, проводив его в комнату, ласково сказал там: - Мальчик, теплой воды и тряпочку. Он минут десять делал там что-то, вполголоса разговаривая с Коськой, потом, отворив дверь, кивнул Платону головою: - До свиданья! - Чай пить, - позвал Коська. За чаем Платон спросил мальчика: - Какие деньги они делают? - Никакие, конечно. Подняв от блюда корявую, источенную оспой рожицу, Коська сказал: - Вы думаете что? Эраст Константинович нарочно научил меня сказать про деньги, а денег-то и нет! - Врет, жулик, а я пропал, - подумал Платон. Когда мальчик лег спать, Платон, подавленный страхом, чувствуя себя птицей, попавшей в сеть, сел за работу в магазине, не зная: чему верить? Делает Грек деньги или нет? Наверное Грек занимается темными делами, может-быть, скупает краденое, но - деньги? Если донести на него полиции, он, конечно, скажет о портрете царя, а Платон знал, как много людей страдают за непочтение к царю; знал, что сын сумасшедшего почтмейстера, студент, посажен в тюрьму только за то, что написал на памятнике, под словами "Александр III": "и довольно, больше не надо". - Да и что мог бы я сказать полиции о Греке? - думал он и не заметил, как у него явилась

О тараканах. Максим Горький gorkiymaxim.ru

утешительная мысль: не всякому человеку удается попасть в шайку фальшивомонетчиков. Он вынул из кармана две бумажки: в три и в пять рублей. Пятирублевка была, несомненно, настоящая, грязная, измятая, с отрепанными краями, а зеленоватая трехрублевая нова, чиста; она честно поскрипывала в пальцах, такая приятная, что ее хотелось сунуть в верхний карман пиджака, так, чтоб уголок был виден, как пунцовый платочек в кармане Агата. – Конечно, эта, – решил Платон, бережно сложив бумажку, отделил ее от грязной настоящей и задумался: как это чудесно, что, вот, маленькая бумажка, сделанная, вероятно, Агатом, даст ему место в цирке перед ложами, среди богатых людей, даст право пообедать в лучшем ресторане и даже посетить очень порядочный дом с веселыми девицами. Да, Агат замечательный человек, он, может-быть смелее даже Лесли Мортон... – А что бы я сделал, если б у меня было много фальшивых денег? Он тотчас решил, что открыл бы солиднейшее увеселительное заведение, пригласив самых серьезнейших эксцентриков и лучших музыкальных клоунов. С этой мыслью он и лег спать, а рано утром, еще до чая, в дверь со двора ворвался Грек по колено в снегу, с красными ушами, обругал мороз, солнце, бога, вынул из кармана неизбежный рахат-лукум и сел к столу, ерзяя, пощипывая беспокойное тело свое. – Послушайте, Эраст Константинович, – сказал Платон, – я хотел бы серьезно поговорить о деньгах... – Говорить можно обо всем, – неопределенно молвил Грек и, вынув бумажник, отсчитал Платону пять трехрублевок, потертых и явно настоящих. – Вот, деньги, получи. И не пиши. – Я не об этих... – Деньги все одинаковы, – пробормотал Грек, разжевывая вязкое лакомство, затвердевшее на морозе. – Вы знаете, – продолжал Платон, – я человек скромный и честный. – Известный, интересный, а я – несносный, купоросный. – И я нежадный, – упрямо продолжал Платон. – Я иду на это потому, что люблю все скрытое; я, ведь, понимаю, что все, – кроме часов, конечно, – скрывает в себе свой секрет. И даже деньги, деньги, даже – особенно. – Да, да? – вопросительно пробормотал Грек, слушая глазами. – Да, да, – ну? – Когда человек сам делает деньги, а не кто-то неизвестный, это, конечно, интереснее, тут – сам делаешь ключи ко всему, так я думаю. Так? Грек точно наскочил на что-то, минуту подумал и забормотал: – Деньги – пустяки. Один – за целый счастлив, а другой и при пятистах плачет, вот они, деньги! Деньги – дело куриное, а я – петух. Застежечку к брошке припаял? Давай. Сунув брошь в карман, не допив чай, он выкатился на улицу, увлекая за собою Коську, а Платон, вынув из кармана трехрублевку, внимательно рассмотрел ее на свет и вздохнул: днем бумажка эта тоже казалась настоящей, и это как бы понижало чудесную силу, заключенную в ней. Конечно, и на три рубля, сделанные по заказу царя, тоже получишь те удовольствия, какие дает трешница работы Агата и, конечно, это безопаснее, но – обыкновенно. И, ведь, ясно, что если б каждый человек сам для себя умел печатать деньги, не было бы жадных, воров, нищих и девушек, которые любят только потому, что хотят одеваться нарядно. Платон почувствовал себя в кругу очень важных мыслей, они удивительно просто распутывали все узлы и петли жизни, освобождая людей от зависимости друг пред другом, рисуя жизнь без хозяев, царей, полиции, жандармов, жизнь, в которой каждый сам себе владыка и работает лишь тогда, когда хочет работать. Вероятно, тогда для работы избирали бы только дождливые дни осени, морозные и вьюжные зимы, а солнечные дни весны и лета считались бы праздниками. Тогда каждый человек приобрел бы необыкновенные способности Лесли Мортон уметь делать все окружающее живым, все стало бы зеркально, прозрачно и близко. Беседа с Греком оставила у него неприятное чувство и догадку, что Грек хитрит, боится говорить открыто. – Нужно это сказать Агату, – возбужденно решил Платон. В воскресенье, закрыв магазин, он пошел в ресторан Балакиной, заказал себе гурьевскую кашу, полбутылки мадеры и, чувствуя, что у него от волнения дрожат руки, шевелятся волосы на висках, долго, без аппетита жевал сладкий рис, мармелад, пил горьковатое вино. Когда общедоступная племянница Балакиной, Софа, ласково сервкая угольками назойливых и всевидящих очей, взяв из его руки новенькую трехрублевку, небрежно сунула ее в карман белого передника, Платон испуганно привстал со стула, желая попросить девицу, чтоб она вернула ему эту бумажку, но Софа, ловко повернувшись на каблуках, исчезла в соседней комнате, где был буфет. И когда она проходила в дверь, какой-то нахал с черной бородкой, встал и пошел за нею, насвистывая печальный марш Ендржиевского. Софа долго не приносила сдачу; она пришла еще более ласковой и, поставив пред Платоном тарелочку, на которой лежал бумажный, судорожно скорчившийся рубль и два пятака, спросила: – Почему это вас не видно? – Как же не видно? Я – вот он! – И похудели. Влюблены? Платон взял с тарелки рубль, говоря: – Я дал вам новенькую бумажку, а вы мне – вот какую дрянь! – Бумажные рубли уже не популярны, – сказала Софа и ушла. На улице зима хвасталась солнечным днем; солнце окрасило почти половину неба в необыкновенно нежный розоватый тон; мохнатые провода телеграфа провисли, как плюшевые шнуры, с них осыпались на пальто Платона серебряные звезды инея; окна

О тараканах. Максим Горький gorkiymaxim.ru

домов, затканные кружевами, отсвечивали алым золотом, и хотя мороз больно щипал уши, все вокруг казалось теплым, даже горячим. Лица встречаемых людей тоже были розовые, красненькие, с белыми усами и бровями, снег под ногою скрипел, точно новая, еще неизмятая, кожа, и все вообще было заботливо, красиво обновлено. - Да, - успокоенно думал Платон, - бумажка была, конечно, настоящая... Но он чувствовал, что к его спокойствию присоединяется, как тень, легкая грусть, и ее все усиливал звучащий в памяти марш Эндржиевского, марш, который цирковой оркестр Жозефа всегда почти играл перед началом второго отделения программы. - Может-быть, они действительно не делают фальшивых денег, - размышлял Платон, чувствуя, как эта мысль убивает мечту о возможности интересной жизни, когда каждый человек, живя на свои деньги, был бы независим, как Лесли Мортон, и когда для всех людей самым серьезным делом были бы развлечения. У выхода из улицы на площадь, Платона обогнал Коська в шапчонке поддельного барашка, с бока шапка была разорвана, и над сафьяновым косынкиным ухом торчал седой клок пеньки. Рядом с Коськой важно шагала девочка в белом пальто, в голубом, шерстяном чепце, на ее тоненьких ножках, высокие суконные галоши, должно быть, тяжелые, точно утюги, руки она сунула в кукольно маленькую муфту и шла поднимая нос, щурясь. - Куда? - В цирк, - ответил Коська. - Это сестра? Утвердительно кивнув головою, Коська спросил: - А кто еще? - Как зовут? - Она немоглущая. - Говорится: глухонемая, - поправил Платон, но чья-то широкая спина, закрыв Коську, сказала басом: - Хорошие погоды. - Почему же - погоды? - задумался Платон, ощущая, как приятно мадера кружит голову. - Чепец, муфта и вообще весь костюм стоит денег. Откуда у Коськи деньги? Нет, нужно поговорить с Агатом; может-быть он делает деньги... В цирк идти не хотелось, там было скучно, а знаменитый актер Стрельский, похожий на осетра, кричал как полицейский пристав на базаре: - Пойду домой и сочиню стихи. Платон зашел в магазин, купил четверть фунта халвы, десяток сухарей, лимон и через полчаса был дома, в тепле, в привычном запахе меди и в тишине; спокойное течение ее отсчитывали маятники. - Чмок-чок, чвак-чок. Вскипятив самовар, он сел к столу с карандашом в руках, положив перед собою лист чистой бумаги и "Новейший модный песенник", книгу весьма полезную для начинающих поэтов, - в ней можно найти множество рифм. Прихлебывая чай, стучая пальцем по лбу, он жевал халву, зубы его вязли в крепком соединении конфетной муки, мела, сахара и рыбьего клея, а халва подсказывала: Бова, слова, голова, но все это, не укладываясь в строки, торчало в голове точно гвозди в кармане. Но, как-то внезапно, сразу он написал:

Сижу один, пью чай с халвой,

Так провожу я вечер свой;

Итак, однажды по утрам,

Наверно, я один, умру. Он отрадно вздохнул, это уж были настоящие стихи, потому что грустные. Но больше он не успел ничего написать: в дверь, со двора бойко постучали, явился Агат и с ним нахал из ресторана, остробородый, с усиками точно стрелки часов в два рубля семьдесят пять. - Покорский, - сказал он, протянув руку Платону, - Кароль Покорский. Агат, не раздеваясь, взял со стола бумагу и удивленно мигнул: - Ах, вот как, - стихи? Смотри-ка, - стихи! Покорский провел по строчкам концом бородки и сказал решающим голосом: - Это очень хорошо, понимаешь? - Очень, очень... Агат вынул из кармана пальто бутылку, овальную коробку рахат-лукума, сбросил пальто на постель Платона и сел к столу, оживленно любезно говоря: - Гуляли, гуляли, - дьявольски холодно! Покорский приглашает к девочкам, греться, - ба! думаю я - зайдём-ка за Ереминым, возьмем его, монаха; почему это так: мы - грешим, а он - не хочет? Это неправильно. Кстати напьёмся чаю, угостим его сладким, я заметил: вы любите рахат-лукум, у вас турецкий вкус, угощайтесь! - Покорно благодарю, - сказал Платон, радостно удивленный милой, дружеской болтовней Агата; эта болтовня тотчас убедила его, что Грек передал Агату его согласие вступить в денежное дело, и вот Агат пришел, чтоб окончательно переговорить об этом. Разумеется, это - так. Агат улыбался, казалось, что каждое слово его улыбается, а Покорский молча пил чай и посматривал колкими глазами в лицо Платона, в потолок, в угол, где печь разинула темную пасть. Глаза его были глубоко забиты в сухое лицо, как шляпки машинных гвоздей в мягкое дерево, например, в липу. Он искусно, тихонько отбивая пальцами левой руки такт, насвистывал трогательный марш Эндржиевского и странно! - грустная мелодия, провожавшая кого-то далеко и, может-быть, навсегда, не мешала веселому журчанию речей милейшего Агата; он влюбленно смотрел на Платона и сеял мягкие слова. - Я тоже к стихам очень склонен, только сочинять нет времени. Сочинять забавное, очень смешное занятие. Платон, слушая, соображал: -

О тараканах. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Покорский, конечно, главный. Очень серьезный, даже неприятный. Никогда еще Агат не был таким милым. С ним говорить о серьезном будет очень просто. Но Агат не торопился заговорить о серьезном, он любезно спрашивал: – Вы стихи Баркова знаете? Нет? Жаль. Это – замечательные стихи в откровенном роде. Рахат-лукум этот лучшего сорта, вы что же мало кушаете? Платон вежливо улыбался и ел клейкое лакомство, густо осыпанное сахарной пудрой; Покорский, куря желтую папиросу, строго смотрел в потолок, казалось он читает что-то, неразборчиво или мелко написанное, веки его напряженно дрожали. – Сейчас начнет о деле, – ждал Платон. Агат рассказывал о дружбе и ссорах Баркова с сочинителем Пушкиным, он говорил так, как-будто сам присутствовал при этих ссорах. – Однажды, знаете, Пушкин так рассердился, что хотел побить ему морду, уже плеснул в рыло чаем, но Барков убежал в соседнюю комнату, притворил за собою дверь, и сейчас же запел, как в церкви:

Волною морскою

Скрылся Барков за доскою

От гонителя, мучителя,

Сашки Пушкина, сочинителя. Конечно Пушкин расхохотался, помирился: удивительно ловок был этот негодяй, однако памятник поставили не ему, а Пушкину. Агат засмеялся мягким смехом женщины, прижмурив глаза свои с блестящей иголкой в центре карего зрачка. – Пора, – строго сказал Покорский; Платон вздрогнул, Агат же дернул цепочку часов на груди своей, часы, выскочив из кармана жилета, описали в воздухе золотую дугу и покорно легли на ладонь его: – Да, пора, одевайтесь! Платон был готов итти всюду, куда бы ни повел Агат, хоть в горящий дом. Он чувствовал, что от рыжего вина и рахат-лукума во рту его железисто горько, в голове мутно, а в животе бурчит, но за то на душе было легко, празднично прибрано, как бы присыпано сладкой, белоснежной пудрой. Он заметил, что Покорский, свернув лист бумаги со стихами тонкой трубкой, сунул его в ручку самовара, это сделало самовар похожим на пожарного солдата с брандсбойтом и несколько примирило Платона с молчаливым человеком, наверное он не так суров, каким кажется. – Вы любите девушек? – спрашивал Агат. – Как сказать? – Никак не говорите, я сам знаю, не любить нельзя, это – как детская болезнь, говорит Покорский, в роде скарлатины или кори, так, Покорский? Насвистывая свой марш, Покорский шагал твердо и мерно. Серебряный холод сковал землю, стеклянно хрустел под ногами, на голову и плечи давила металлическая тяжесть, дышать было так трудно, как-будто воздух замер, превратился в острые, злые колючки, и они вонзались в кожу щек, в лоб, и глаза. Но Агат, удивительный человек, шел распахнув пальто и хрустально звонкими словами спрашивал Платона: – А каких девушек вы любите больше? Почему вас интересует бунт? Разве вы знакомы со студентами? Чем мешает вам царь? От этих быстрых вопросов еще более мутилось в голове, Платон не успевал отвечать на них и только удивленно мычал, слушая Агата. – Глуп, как двое. Это сказал Покорский, негромко, равнодушно, трудно было понять, зачем он сказал это и о ком? – Не про меня, конечно, он меня не знает, – подумал Платон. – Но разве можно сказать про Агата – глуп? Думать уже не было времени, остановились у крыльца двухэтажного скромного дома Мелиты Шварцман; красный фонарь накалил гладкую дубовую дверь без ручки; дверь нельзя было открыть с улицы, и это смутило Платона. – Вот что, – сказал Агат, застегивая пальто, – вы, Еремин, идите и спросите Клаву, – вы знаете Клаву? – Я тут никогда не был, это дорогой дом... – Ерунда. Мы съездим, пригласим еще одного парня, он очень смешной и хорошо поет песни; мы вернемся через десять минут. Помните – Клаву! Он сам ткнул пальцем в кнопку звонка и, раньше, чем открылась дверь, скользнул с Покорским прочь, точно по льду на коньках, а Платон оперся плечом о стену, вдруг чувствуя, что земля под ним вздувается горбом, сдвигая его куда-то. Ему показалось также, что свет фонаря стал более густо красен и качается кругами, хотя ночь была безветренна. – Я выпил лишнее, – сообразил Платон. Дверь открыл благообразный человек в синеватой поддевке, он ловко снял пальто с Платона, облупив его как яйцо, сдвинул ногою галоши его под вешалку и спрятал руки за спину. – Мне – Клаву. – В кармане не держу. Наверх, – сказал человек грубым голосом ветеринара Беневоленского. Лестница, покрытая, как в дворянском доме, красным ковром, то ложилась плоско, то вставала стеною, а сзади кто-то толкал Платона тупыми ударами в затылок. – Голова кружится. Он остановился, схватившись за перила, глядя вверх, на чьи-то черные ноги. Может-быть Агат потому и уехал, что я – пьяный, со мной нельзя говорить о серьезном. – Мне – Клаву, – сказал он толстой, черной женщине, с крупными янтарями на груди. – Клавдия, – крикнула она так пронзительно, что Платон пошатнулся. – Содовой воды

О тараканах. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

тоже, – сказал он икнув оттого, что много съел рахат-лукума, потом пробормотал, усмехаясь. – Клава, халва... Коричневая стена перед ним раздалась, распахнулась, как шуба, из нее обнажилась девица, подхватила Платона под руку и повела его куда-то, вкусно говоря: – Какой беленький, мохнатенький! Выпил? – Ух, – сказал Платон, чувствуя во рту вкус меди. – Пересолил душеньку? Платон засмеялся: забавно сказала она о пересоленной душе; душа – не рыба, а, наверное, похожа на херувима: головка с крыльями и больше ничего. – Душа – крылата, – напомнил он девице, а она, захохотав, сказала что-то про солдата, ведя его навстречу "Дунайским волнам"; волны раскачивали пол, выгибая и проваливая шашки паркета, на полу, совсем как в дворянском доме, качались разноцветные девицы, черные мужчины; по стене над пианино и лысой головой тапера прыгала желтая, голая женщина с бубном. – Ой, его тошнит! – вскричала девица, оттолкнув Платона. В маленькой комнате, похожей на магазин посуды, ему облили голову ледяной водой, дали выпить несколько капель нашатырного спирта, это разредело густое, душеное облако, вдруг окутавшее его. – Пришли они? – кто? – ворчливо спросила женщина с янтарями. – Агат и этот? – Агат – камень. Какой Агат? – С бородкой, черный? Пришел? – Господи помилуй! – сердито вскричала женщина, размахивая полотенцем. Клавдия, позови Ермолая! Она стала толкать Платона в спину, приговаривая: – Никаких с бородками, мы не знаем, у нас заведение приличное, а вы не в себе и неспособный, идите-ко домой... Благообразный человек принял, обнял Платона, бережно свел его с лестницы, одел, осторожно выставил за дверь в синий холод ночи и, ударив по затылку, сказал: – Шантрапа! Ударил он так сильно, что пальто Платона распахнулось, и он побежал, размахивая руками, боясь оторваться от земли. Обиженный и больной, он не понимал: что случилось? Ошибся Агат и проехал с Покорским не в тот дом, или он пошутил над ним, сунув его к Шварцман? Платон долго шел мелкими, быстрыми шагами по тихим улицам, по синеватым теням домов и чем дальше уходил, тем пустынее, тише становилось вокруг, только снег хрустел все сильнее. В спину холодно светила луна, тяжелая, вязкая тень путалась под ногами, мешая идти и все кружилось: дома, связанные заборами, ошмыганные веники деревьев; стеною вставала огромная льдина неба в мелких трещинках звезд. Платон всползал на небо и, соскальзывая с него, как таракан со стекла, упирался руками, лбом в шаткие стены домов, покрытые инеем. Судороги рвали живот, стискивали горло, тупо били в голову, – мокрые волосы смерзались на висках, голова леденела и в ней медленно вращались тяжелые, медные колеса. Бессвязно и горестно думалось, что вот он идет куда-то в холоде, до боли сжимающем тело, а красавец Агат, наверно сидит где-то в теплой комнате, забыв о нем. И вообще о нем некому помнить, в жизни его никого нет, как на этой сонной, слепой улице. А, может-быть, Агат нанял извозчика и, объезжая публичные дома города ищет его? Он такой вежливый. Агат... Он – ловкий, часы у него летают, как летали бы у Лесли Мортон... Острая, рвущая боль в животе обожгла его и остановила, внезапно ударив страшной догадкой: – Агат отравил меня рахат-лукумом. Каждое слово пошатывало его, усиливая страх до того, что боль стала тише, а в голове быстро, отчетливо рождались трезвые мысли. – Отравили рахат-лукумом и вином, потому что испугались – донесу. Это Грек научил Агата. Я – донесу, сейчас же. Я – в полицию... Он побежал, задыхаясь, чувствуя, что его нахлестывает изнутри уже не боль, а страх; именно страх разрывает живот тупым ножом. Тихонько взвизгивая, жмурясь он, с разбега, наткнулся на широкие ворота в кирпичной стене, из деревянной конурки у ворот поднялось что-то мохнатое, большое и крикнуло: – Куда лезешь? – Это – какое здание? – Это тебе не здание, а бойня. – Спасибо, – пробормотал Платон, зная теперь, куда нужно идти; он даже хотел снять шапку, но шапка не снялась, больно дернув волосы на висках и затылке. Сунув в карманы оледеневшие руки, он пошел вдоль стены, а от ворот вслед ему сказали, должно быть, шутя: – Завтра утром приходи, баран, – зарежем! Платон остановился и ноющим голосом, обиженно, едва выговаривая слова, ответил: – Меня рахат-лукумом отравили, а вы, – эх! Боль притихла, но терзал стальной холод, мучительно сжимая грудь, сдавливая виски ледяным обручем; но все-таки мельком Платон подумал, что, может-быть, никогда еще ни одного человека не отравляли рахат-лукумом, и что это было бы не так страшно, если бы не мороз. Сейчас он добежит до полиции, там доктор даст ему лекарство против яда, и если ему станет лучше, он скажет, что отравился сам, а завтра утром или через два, три дня, Агат, узнав, что он не донес полиции и не хочет мстить, попросит у него прощения за то, что отравил, и тогда они будут друзьями на всю жизнь. От этой мысли стало как-будто не так горько, а впереди засверкал на земле бездымный, золотисто красный костер; Платон бросился к нему, выбежал на площадь, очутился у огня, наступив на лужу растаявшего снега и сунул одеревяневшую от холода ногу настолько близко к живому золоту огня, что рыжебородый извозчик предупредительно сказал: – Зажаришь ножку, баринок! От костра на площади было темнее, чем на улицах; две лошади дремали косясь на огонь, на мордах их густо осел иней, один извозчик, стоя у огня,

О тараканах. Максим Горький gorkiymaxim.ru

закуривал папиросу, другой, рыжебородый, поправлял концом кнутовища головни в костре. Платон узнал красно кирпичное здание купеческого клуба, бронзовый монумент против него и в синем небе – золотую луковицу колокольни Варвары Великомученицы. Полицейский участок тут, за церковь, в переулке... Вздрагивая от холода, он грел руки и ноги, простирая их над огнем, прислушивался к боли: становясь все тупее, она тягостно разливалась по всему телу, вызывая неодолимое желание лечь и заснуть. – Сейчас пойду, – думал он и не шел, воображая испуг и удивление Агата, слушая, сквозь дрему, все более медленный, замерзавший разговор извозчиков. – Все едино, – говорил рыжебородый, – и у штатского своя судьба, свои неудачи. Извозчик с папиросой еще более медленно ответил: – Верно. А все-таки – памятник, который для памяти, ставят на кладбище, а в городе памятники для устрашения. – Город не огород. Кого пугать? – Не про то говорю, чтобы пугать, а – не зазнавайся, каков ты ни есть. Потому и ставят на площадях царям памятники, полководцам, генералам... Платон хотел сказать извозчику, что отравился рахат-лукумом и чтоб его отвезли в полицию, но припадок рвоты согнул его и, покачнувшись, он едва не упал головой в костер; рыжебородый оттолкнул его, сердито крикнув: – Эх, вы, туда же, пьете! Платон, лежа на снегу, сказал: – Вези... – Где живешь? Платон слышал, как другой извозчик говорил издали: – Везти его нельзя, замерзнет, ему бежать надо. Рыжебородый потрогал ногою ногу Платона: – Слышь – беги! – Не могу, – сказал Платон почти засыпая, обессиленный судорогами. – Ну, едем! – Гляди, заморозишь. – Пьют, а не умеют. Платона взяли под мышки, поставили на мягкие ноги, потом свалили в сани. Озябшая лошадь поскакала, Платон слышал удары ее копыт о передок саней, шлепки кнута, а когда проезжали мимо монумента, монумент крикнул сердитым басом: – Куда, дурак? Куда? Это удивило Платона; уж если монумент может ругаться, так ругаться должен бы не этот, а другой, который стоит перед домом дворянского собрания, тот, конечно, имеет право обругать за патуку и тараканов. Ехать было мучительно, извне тело сжимали железные тиски холода, изнутри терзала боль, и в то же время хотелось спать. Особенно нестерпимо холодно было голове, все мысли в ней вымерзли, но от этого она стала еще тяжелее и падала куда-то, как птица, лишенная крыльев. Лошадь бежала, подпрыгивая, точно старая собака, извозчик не торопил ее, он поглядывал в небо, поглядывал на синеватые льдины в окнах домов, оглядывался на седока, скорченного в санях; потом он, не останавливая бег лошади, перевалился с козел в сани, снял рукавицы с рук своих, обыскал карманы безмолвного, но еще мягкого седока, снял с него часы, хотел снять и шапку, но она не далась. Тогда, приостановив лошадь, толкая седока руками и ногами, точно куль овса, он вывалил его из саней в сугроб и, хлестнув лошадь кнутом, поехал дальше между заборов и сугробов, под синий, жестоко холодный купол, прикрывший серебряную пустоту. ...Разумеется, вполне возможно, что "нездешний" человек, умерший "на ходу", не тот, о котором я рассказал; что он не так жил, не так чувствовал и думал. Но все существует лишь для того, чтоб о нем было рассказано. И совершенно недопустимо, чтоб какой-то человек валялся мертвым ночью, у камня, на берегу лужи, и чтоб поэтому нельзя было ничего рассказать.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!